

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

I

Утро, последовавшее за роковым для Петра Петровича объяснением с Дунечкой и с Пульхерией Александровной, принесло свое отрезвляющее действие и на Петра Петровича. Он, к величайшей своей неприятности, принужден был мало-помалу принять за факт, совершившийся и невозвратимый, то, что вчера еще казалось ему происшествием почти фантастическим, и хотя и сбывшимся, но все-таки как будто еще невозможным. Черный змей ужаленного самолюбия всю ночь сосал его сердце. Встав с постели, Петр Петрович тотчас же посмотрелся в зеркало. Он опасался, не разлилась ли в нем за ночь желчь? Однако с этой стороны все было, покамест, благополучно, и, посмотрев на свой благородный, белый и немного ожиревший в последнее время облик, Петр Петрович даже на мгновение утешился, в полнейшем убеждении сыскать себе невесту где-нибудь в другом месте, да, пожалуй, еще и почище; но тотчас же опомнился и энергически плюнул в сторону, чем вызвал молчаливую, но саркастическую улыбку в молодом своем друге и сожителе Андрее Семеновиче Лебезятникове. Улыбку эту Петр Петрович заметил и про себя тотчас же поставил ее молодому своему другу на счет. Он уже много успел поставить ему в последнее время на счет. Злоба его удвоилась, когда он вдруг сообразил, что не следовало бы сообщать вчера о вчерашних результатах Андрею Семеновичу. Это была вторая вчерашняя ошибка, сделанная им сгоряча, от излишней экспансивности, в раздражении. Затем, во все это утро, как нарочно, следовала неприятность за неприятностью. Даже в сенате ждала его какая-то неудача по делу, о котором он там хлопотал. Особенно же раздражил его хозяин квартиры, нанятой им в видах скорой женитьбы и отделяемой на собственный счет: этот хозяин, какой-то разбогатевший немецкий ремесленник, ни за что не соглашался нарушить только что совершенный контракт и требовал полной прописанной в контракте неустойки, несмотря на то что Петр Петрович возвращал ему квартиру почти заново отделанную. Точно так же и в мебельном магазине ни за что не хотели возвратить ни одного рубля из задатка за купленную, но еще не перевезенную в квартиру мебель. «Не нарочно же мне жениться для мебели!» — скрежетал про себя Петр Петрович, и в то же время еще раз мелькнула в нем отчаянная надежда: «Да неужели же в самом деле все это так безвозвратно пропало и кончилось? Неужели нельзя еще раз попытаться?» Мысль о Дунечке еще раз соблазнительно занозила его сердце. С мучением перенес он эту минуту и уж, конечно, если бы можно было сейчас, одним только желанием, умертвить Раскольникову, то Петр Петрович немедленно произнес бы это желание.

«Ошибка была еще, кроме того, и в том, что я им денег совсем не давал, — думал он, грустно возвращаясь в каморку Лебезятникова, — и с чего, черт возьми, я так ожидал? Тут даже и расчета никакого не было! Я думал их в черном теле попридержать и довести их, чтоб они на меня как на провидение смотрели, а они вон!.. Тьфу!.. Нет, если б я выдал им за все это время, например, тысячи полторы на приданое, да на подарки, на коробочки там разные, [несессеры](#), [сердолики](#), материи и на всю эту дрянь, от [Кнопа](#), да из английского магазина, так было бы дело почище и... покрепче! Не так бы легко мне теперь отказали! Это народ такого склада, что непременно почли бы за обязанность возвратить в случае отказа и подарки и деньги; а возвращать-то было бы тяжеленько и жалко! Да и совесть бы щекотала: как, дескать, так вдруг прогнать человека, который до сих пор был так щедр и довольно деликатен?.. Гм! Дал маху!» И, заскрежетав еще раз, Петр Петрович тут же назвал себя дураком — про себя, разумеется.

Придя к этому заключению, он вернулся вдвое злее и раздражительнее, чем вышел. Приготовления к поминкам в комнате Катерины Ивановны завлекли отчасти его любопытство. Он кой-что и вчера еще слышал об этих поминках; даже помнилось, как будто и его приглашали, но за собственными хлопотами он все это остальное пропустил

без внимания. Поспешив осведомиться у г-жи Липпехель, хлопотавшей в отсутствие Катерины Ивановны (находившейся на кладбище) около накрывавшегося стола, он узнал, что поминки будут торжественные, что приглашены почти все жильцы, из них даже и незнакомые покойному, что приглашен даже Андрей Семенович Лебезятников, несмотря на бывшую его ссору с Катериной Ивановной, и, наконец, он сам, Петр Петрович, не только приглашен, но даже с большим нетерпением ожидается, так как он почти самый важный гость из всех жильцов. Сама Амалия Ивановна приглашена была тоже с большим почетом, несмотря на все бывшие неприятности, а потому хозяйничала и хлопотала теперь, почти чувствуя от этого наслаждение, а сверх того была вся разодета хоть и в траур, но во все новое, в шелковое, в пух и прах, и гордилась этим. Все эти факты и сведения подали Петру Петровичу некоторую мысль, и он прошел в свою комнату, то есть в комнату Андрея Семеновича Лебезятникова, в некоторой задумчивости. Дело в том, что он узнал тоже, что в числе приглашенных находится и Раскольников.

Андрей Семенович сидел почему-то все это утро дома. С этим господином у Петра Петровича установились какие-то странные, впрочем отчасти и естественные отношения: Петр Петрович презирал и ненавидел его даже сверх меры, почти с того самого дня, как у него поселился, но в то же время как будто несколько опасался его. Он остановился у него по приезде в Петербург не из одной только скаредной экономии, хотя это и было почти главною причиной, но была тут и другая причина. Еще в провинции слышал он об Андрее Семеновиче, своем бывшем питомце, как об одном из самых передовых молодых прогрессистов и даже как об играющем значительную роль в иных любопытных и баснословных кружках. Это поразило Петра Петровича. Вот эти-то мощные, всезнающие, всех презирающие и всех обличающие кружки уже давно пугали Петра Петровича каким-то особенным страхом, совершенно, впрочем, неопределенным. Уж, конечно, сам он, да еще в провинции, не мог ни о чем *в этом роде* составить себе, хотя приблизительно, точное понятие. Слышал он, как и все, что существуют, особенно в Петербурге, какие-то прогрессисты, нигилисты, обличители и проч. и проч., но, подобно многим, преувеличивал и искажал смысл и значение этих названий до нелепого. Пуще всего боялся он, вот уже несколько лет, *обличения*, и это было главнейшим основанием его постоянного, преувеличенного беспокойства, особенно при мечтах о перенесении деятельности своей в Петербург. В этом отношении он был, как говорится, *испуган*, как бывают иногда испуганы маленькие дети. Несколько лет тому назад в провинции, еще начиная только устраивать свою карьеру, он встретил два случая жестоко обличенных губернских довольно значительных лиц, за которых он дотоле цеплялся и которые ему покровительствовали. Один случай кончился для обличенного лица как-то особенно скандально, а другой чуть-чуть было не кончился даже и весьма хлопотливо. Вот почему Петр Петрович положил, по приезде в Петербург, немедленно разузнать, в чем дело, и если надо, то на всякий случай забежать вперед и заискать у «молодых поколений наших». В этом случае надеялся он на Андрея Семеновича и при посещении, например, Раскольникова уже научился кое-как округлять известные фразы с чужого голоса...

Конечно, он быстро успел разглядеть в Андрее Семеновиче чрезвычайно пошленького и простоватого человечка. Но это нисколько не разуверило и не ободрило Петра Петровича. Если бы даже он уверился, что и все прогрессисты такие же дурачки, то и тогда бы не утихло его беспокойство. Собственно до всех этих учений, мыслей, систем (с которыми Андрей Семенович так на него и накинута) ему никакого не было дела. У него была своя собственная цель. Ему надо было только поскорей, немедленно разузнать: что и как *тут* случилось? В силе *эти люди* или не в силе? Есть ли чего бояться собственно ему или нет? Обличат его, если он вот то-то предпримет, или не обличат? А если обличат, то за что именно, и за что, собственно, теперь обличают? Мало того: нельзя ли как-нибудь к ним поддаться и тут же их поднадуть, если они и в самом деле сильны? Надо или не надо это? Нельзя ли, например, что-нибудь подстроить в своей карьере именно через их же посредство? Одним словом, предстояли сотни вопросов.

Этот Андрей Семенович был худосочный и золотушный человек, малого роста, где-то служивший и до странности белокурый, с бакенбардами, в виде котлет, которыми он очень гордился. Сверх того, у него почти постоянно болели глаза. Сердце у него было довольно мягкое, но речь весьма самоуверенная, а иной раз чрезвычайно даже заносчивая, — что, в сравнении с фигуркой его, почти всегда выходило смешно. У Амалии Ивановны он считался, впрочем, в числе довольно почетных жильцов, то есть не пьянствовал и за квартиру платил исправно. Несмотря на все эти качества, Андрей Семенович действительно был глуповат. Прикомандировался же он к прогрессу и к «молодым поколениям нашим» — по страсти. Это был один из того бесчисленного и различного легиона пошляков, дохленьких недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда самым искренним образом служат.

Впрочем, Лебезятников, несмотря даже на то, что был очень добренький, тоже начинал отчасти не терпеть своего сожителя и бывшего опекуна Петра Петровича. Сделалось это с обеих сторон как-то невзначай и взаимно. Как ни был простоват Андрей Семенович, но все-таки начал понемногу разглядывать, что Петр Петрович его надует и втайне презирает и что «не такой совсем этот человек». Он было попробовал ему излагать систему Фурье и теорию Дарвина, но Петр Петрович, особенно в последнее время, начал слушать как-то уж слишком саркастически, а самое последнее время — так даже стал браниться. Дело в том, что он, по инстинкту, начинал проникать, что Лебезятников не только пошленький и глуповатый человек, но, может быть, и лгунишка, и что никаких вовсе не имеет он связей позначительнее даже в своем кружке, а только слышал что-нибудь с третьего голоса; мало того: и дела-то своего, *пропагандного*, может, не знает порядочно, потому что-то уж слишком сбивается и что уж куда ему быть обличителем! Кстати, заметим мимоходом, что Петр Петрович, в эти полторы недели, охотно принимал (особенно вначале) от Андрея Семеновича даже весьма странные похвалы, то есть не возражал, например, и промалчивал, если Андрей Семенович приписывал ему готовность способствовать будущему и скорому устройству новой «коммуны», где-нибудь в Мещанской улице; или, например, не мешать Дунечке, если той, с первым же месяцем брака, вздумается завести любовника; или не крестить своих будущих детей и проч. и проч. — все в этом роде. Петр Петрович, по обыкновению своему, не возражал на такие приписываемые ему качества и допускал хвалить себя даже этак, — до того приятна была ему всякая похвала.

Петр Петрович, разменявший для каких-то причин в это утро несколько пятипроцентных билетов, сидел за столом и пересчитывал пачки кредиток и серий. Андрей Семенович, у которого никогда почти не бывало денег, ходил по комнате и делал сам себе вид, что смотрит на все эти пачки равнодушно и даже с пренебрежением. Петр Петрович ни за что бы, например, не поверил, что и действительно Андрей Семенович может смотреть на такие деньги равнодушно; Андрей же Семенович, в свою очередь, с горечью подумывал, что ведь и в самом деле Петр Петрович, может быть, способен про него так думать, да еще и рад, пожалуй, случаю пощекотать и подразнить своего молодого друга разложенными пачками кредиток, напомнив ему его ничтожество и всю существующую будто бы между ними обоими разницу.

Он находил его в этот раз до небывалого раздражительным и невнимательным, несмотря на то что он, Андрей Семенович, пустился было развивать перед ним свою любимую тему о заведении новой, особой «коммуны». Краткие возражения и замечания, вырывавшиеся у Петра Петровича в промежутках между чиканьем костяшек на счетах, дышали самою явною и с намерением невежливою насмешкой. Но «гуманный» Андрей Семенович приписывал расположение духа Петра Петровича впечатлению вчерашнего разрыва с Дунечкой и горел желанием поскорее заговорить на эту тему: у него было кой-что сказать на этот счет прогрессивного и пропагандного, что могло бы утешить его

почтенного друга и «несомненно» принести пользу его дальнейшему развитию.

— Какие это там поминки устраиваются у этой... у вдовы-то? — спросил вдруг Петр Петрович, перерывая Андрея Семеновича на самом интереснейшем месте.

— Будто не знаете; я ведь вчера же говорил с вами на эту же тему и развивал мысль обо всех этих обрядах... Да она ведь и вас тоже пригласила, я слышал. Вы сами с ней вчера говорили...

— Я никак не ждал, что эта нищая дура усадит на поминки все деньги, которые получила от этого другого дурака... Раскольников. Даже подивился сейчас, проходя: такие там приготовления, вина!.. Позвано несколько человек — черт знает что такое! — продолжал Петр Петрович, расспрашивая и наводя на этот разговор как бы с какою-то целью. — Что? Вы говорите, что и меня приглашали? — вдруг прибавил он, поднимая голову. — Когда же это? Не помню-с. Впрочем, я не пойду. Что я там? Я вчера говорил только с нею, мимоходом, о возможности ей получить, как нищей вдове чиновника, годовой оклад, в виде единовременного пособия. Так уж не за это ли она меня приглашает? хе-хе!

— Я тоже не намерен идти, — сказал Лебезятников.

— Еще бы! Собственноручно отколотили. Понятно, что совестно, хе-хе-хе!

— Кто отколотил? Кого? — вдруг всполошился и даже покраснел Лебезятников.

— Да вы-то, Катерину-то Ивановну, с месяц назад, что ли! Я ведь слышал-с, вчера-с... То-то вот они, убеждения-то!.. Да и женский вопрос подгулял. Хе-хе-хе!

И Петр Петрович, как бы утешенный, принялся опять щелкать на счетах.

— Это все вздор и клевета! — вспыхнул Лебезятников, который постоянно трусил напоминания об этой истории, — и совсем это не так было! Это было другое... Вы не так слышали; сплетни! Я просто тогда защищался. Она сама первая бросилась на меня с когтями... Она мне весь бакенбард выщипала... Всякому человеку позволительно, надеюсь, защищать свою личность. К тому же я никому не позволю с собой насилия... По принципу. Потому это уж почти деспотизм. Что ж мне было: так и стоять перед ней? Я ее только отпихнул.

— Хе-хе-хе! — продолжал злобно подсмеиваться Лужин.

— Это вы потому задираете, что сами рассержены и злитесь... А это вздор и совсем, совсем не касается женского вопроса! Вы не так понимаете; я даже думал, что если уж принято, что женщина равна мужчине во всем, даже в силе (что уже утверждают), то, стало быть, и тут должно быть равенство. Конечно, я рассудил потом, что такого вопроса, в сущности, быть не должно, потому что драки и быть не должно, и что случаи драки в будущем обществе немыслимы... и что странно, конечно, искать равенства в драке. Я не так глуп... хотя драка, впрочем, и есть... то есть после не будет, а теперь-то вот еще есть... тьфу! черт! С вами собьешься! Я не потому не пойду на поминки, что была эта неприятность. Я просто по принципу не пойду, чтобы не участвовать в гнусном предрассудке поминок, вот что! Впрочем, оно и можно бы было пойти, так только, чтобы посмеяться... Но жаль, что попов не будет. А то бы непременно пошел.

— То есть сесть на чужую хлеб-соль и тут же наплевать на нее, равномерно и на тех, которые вас пригласили. Так, что ли?

— Совсем не наплевать, а протестовать. Я с полезной целью. Я могу косвенно способствовать развитию и пропаганде. Всякий человек обязан развивать и пропагандировать и, может быть, чем резче, тем лучше. Я могу закинуть идею, зерно... Из этого зерна вырастет факт. Чем я их обижаю? Сперва обидятся, а потом сами увидят, что я им пользу принес. Вот у нас обвиняли было Теребьеву (вот что теперь в коммуне), что когда она вышла из семьи и... отдалась, то написала матери и отцу, что не хочет жить среди предрассудков и вступает в [гражданский брак](#), и что будто бы это было слишком грубо, с отцами-то, что можно было бы их пощадить, написать мягче. По-моему, все это вздор, и совсем не нужно мягче, напротив, напротив, тут-то и протестовать. Вон Варенц семь лет с мужем прожила, двух детей бросила, разом отрезала мужу в письме: «Я

сознала, что с вами не могу быть счастлива. Никогда не прощу вам, что вы меня обманывали, скрыв от меня, что существует другое устройство общества, посредством коммун. Я недавно все это узнала от одного великодушного человека, которому и отдалась, и вместе с ним завожу коммуны. Говорю прямо, потому что считаю бесчестным вас обманывать. Оставайтесь, как вам угодно. Не надейтесь вернуть меня, вы слишком опоздали. Желаю быть счастливым». Вот как пишутся подобного рода письма!

— А эта Терехова, ведь это та самая, про которую вы тогда говорили, что в третьем гражданском браке состоит?

— Всего только во втором, если судить по-настоящему! Да хоть бы и в четвертом, хоть бы в пятнадцатом, все это вздор! И если я когда сожалел, что у меня отец и мать умерли, то уж, конечно, теперь. Я несколько раз мечтал даже о том, что, если б они еще были живы, как бы я их огрел протестом! Нарочно подвел бы так... Это что, какой-нибудь там «отрезанный ломоть», тьфу! Я бы им показал! Я бы их удивил! Право, жаль, что нет никого!

— Чтоб удивить-то! Хе-хе! Ну, это пускай будет, как вам угодно, — перебил Петр Петрович, — а вот что скажите-ка: ведь вы знаете эту дочь покойника-то, щупленькая такая! Ведь это правда совершенная, что про нее говорят, а?

— Что ж такое? По-моему, то есть по моему личному убеждению, это самое нормальное состояние женщины и есть. Почему же нет? То есть *distinguons*¹. В нынешнем обществе оно, конечно, не совсем нормально, потому что вынужденное, а в будущем совершенно нормально, потому что свободное. Да и теперь она имела право: она страдала, а это был ее фонд, так сказать капитал, которым она имела полное право располагать. Разумеется, в будущем обществе фондов не надо будет; но ее роль будет обозначена в другом значении, обусловлена стройно и рационально. Что же касается до Софьи Семеновны лично, то в настоящее время я смотрю на ее действия как на энергический и олицетворенный протест против устройства общества и глубоко уважаю ее за это; даже радуюсь, на нее глядя!

— А мне же рассказывали, что вы-то и выжили ее отсюда из номеров!

Лебезятников даже рассвирепел.

— Это другая сплетня! — завопил он. — Совсем, совсем не так дело было! Вот уж это-то не так! Это все Катерина Ивановна тогда наврала, потому что ничего не поняла! И совсем я не подбивался к Софье Семеновне! Я просто-запросто развивал ее, совершенно бескорыстно, стараясь возбудить в ней протест... Мне только протест и был нужен, да и сама по себе Софья Семеновна уже не могла оставаться здесь в номерах!

— В коммуны, что ль, звали?

— Вы все смеетесь и очень неудачно, позвольте вам это заметить. Вы ничего не понимаете! В коммуне таких ролей нет. Коммуна и устраивается для того, чтобы таких ролей не было. В коммуне эта роль изменит всю теперешнюю свою сущность, и что здесь глупо, то там станет умно, что здесь, при теперешних обстоятельствах, неестественно, то там станет совершенно естественно. Все зависит, в какой обстановке и в какой среде человек. Все от среды, а сам человек есть ничто. А с Софьей Семеновной я в ладах и теперь, что может вам послужить доказательством, что никогда она не считала меня своим врагом и обидчиком. Да! Я соблазняю ее теперь в коммуны, но только совсем, совсем на других основаниях! Чего вам смешно! Мы хотим завести свою коммуны, особенную, но только на более широких основаниях, чем прежние. Мы пошли дальше в своих убеждениях. Мы больше отрицаем! Если бы встал из гроба Добролюбов, я бы с ним поспорил. А уж Белинского закатал бы! А покамест я продолжаю развивать Софью Семеновну. Это прекрасная, прекрасная натура!

— Ну, а прекрасною-то натурой и пользуетесь, а? Хе-хе!

— Нет, нет! О нет! Напротив!

— Ну, уж и напротив! Хе-хе-хе! Эх сказал!

— Да поверьте же! Да из-за каких причин я бы стал скрывать перед вами, скажите,

пожалуйста! Напротив, мне даже самому это странно: со мной она как-то усиленно, как-то боязливо целомудренна и стыдлива!

— И вы, разумеется, развиваете... хе-хе! доказываете ей, что все эти стыдливости вздор?..

— Совсем нет! Совсем нет! О, как вы грубо, как даже глупо — простите меня — понимаете слово: развитие! Н-ничего-то вы не понимаете! О боже, как вы еще... не готовы! Мы ищем свободы женщины, а у вас одно на уме... Обходя совершенно вопрос о целомудрии и о женской стыдливости, как о вещах самих по себе бесполезных и даже предрассудочных, я вполне, вполне допускаю ее целомудренность со мною, потому что в этом — вся ее воля, все ее право. Разумеется, если б она мне сама сказала: «Я хочу тебя иметь», то я бы почел себя в большой удаче, потому что девушка мне очень нравится; но теперь, теперь по крайней мере, уж конечно, никто и никогда не обращался с ней более вежливо и учтиво, чем я, более с уважением к ее достоинству... я жду и надеюсь — и только!

— А вы подарите-ка ей лучше что-нибудь. Бьюсь об заклад, что об этом-то вот вы и не подумали.

— Н-ничего-то вы не понимаете, я вам сказал! Оно конечно, таково ее положение, но тут другой вопрос! совсем другой! Вы просто ее презираете. Видя факт, который, по ошибке, считаете достойным презрения, вы уже отказываете человеческому существу в гуманном на него взгляде. Вы еще не знаете, какая это натура! Мне только очень досадно, что она в последнее время как-то совсем перестала читать и уже не берет у меня больше книг. А прежде брала. Жаль тоже, при всей своей энергии и решимости протестовать, — которую она уже раз доказала, — у ней все еще как будто мало самостоятельности, так сказать независимости, мало отрицания, чтобы совершенно оторваться от иных предрассудков и... глупостей. Несмотря на то, она отлично понимает иные вопросы. Она великолепно, например, поняла вопрос о целовании рук, то есть что мужчина оскорбляет женщину неравенством, если целует у ней руку. Этот вопрос у нас дебатирован, и я тотчас же ей передал. Об ассоциациях рабочих во Франции она тоже слушала внимательно. Теперь я толкую ей вопрос свободного входа в комнаты в будущем обществе.

— Это еще что такое?

— Дебатирован был в последнее время вопрос: имеет ли право член коммуны входить к другому члену в комнату, к мужчине или женщине, во всякое время... ну, и решено, что имеет...

— Ну, а как тот или та заняты в ту минуту необходимыми потребностями, хе-хе!

Андрей Семенович даже рассердился.

— А вы всё об этом, об этих проклятых «потребностях»! — вскричал он с ненавистью, — тьфу, как я злюсь и досаую, что, излагая систему, упомянул вам тогда преждевременно об этих проклятых потребностях! Черт возьми! Это камень преткновения для всех вам подобных, а пуще всего — поднимают на зубок, прежде чем узнают, в чем дело! И точно ведь правы! Точно ведь гордятся чем-то! Тьфу! Я несколько раз утверждал, что весь этот вопрос возможно излагать новичкам не иначе как в самом конце, когда уж он убежден в системе, когда уже развит и направлен человек. Да и что, скажите, пожалуйста, что вы находите такого постыдного и презренного хоть бы в помойных ямах? Я первый, я, готов вычистить какие хотите помойные ямы! Тут даже нет никакого самопожертвования! Тут просто работа, благородная, полезная обществу деятельность, которая стоит всякой другой и уже гораздо выше, например, деятельности какого-нибудь Рафаэля или Пушкина, потому что полезнее!

— И благороднее, благороднее, — хе-хе-хе!

— Что такое благороднее? Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. «Благороднее», «великодушнее» — все это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю! Все, что *полезно* человечеству, то и благородно! Я понимаю только одно слово: *полезное*! Хихикайте, как вам угодно, а это

так!

Петр Петрович очень смеялся. Он уже кончил считать и припрятал деньги. Впрочем, часть их зачем-то все еще оставалась на столе. Этот «вопрос о помойных ямах» служил уже несколько раз, несмотря на всю свою пошлость, поводом к разрыву и несогласию между Петром Петровичем и молодым его другом. Вся глупость состояла в том, что Андрей Семенович действительно сердился. Лужин же отводил на этом душу, а в настоящую минуту ему особенно хотелось позлить Лебезятникова.

— Это вы от вчерашней вашей неудачи так злы и привязываетесь, — прорвался наконец Лебезятников, который, вообще говоря, несмотря на всю свою «независимость» и на все «протесты», как-то не смел оппонировать Петру Петровичу и вообще все еще наблюдал перед ним какую-то привычную, с прежних лет, почтительность.

— А вы лучше вот что скажите-ка, — высокомерно и с досадой прервал Петр Петрович, — вы можете ли-с... или лучше сказать: действительно ли и на столько ли вы коротки с вышеупомянутой молодой особой, чтобы попросить ее теперь же, на минуту, сюда, в эту комнату? Кажется, они все уж там воротились, с кладбища-то... Я слышу, поднялась ходьба... Мне бы надо ее повидать-с, особу-то-с.

— Да вам зачем? — с удивлением спросил Лебезятников.

— А так-с, надо-с. Сегодня-завтра я отсюда съеду, а потому желал бы ей сообщить... Впрочем, будьте, пожалуй, и здесь, во время объяснения. Тем даже лучше. А то вы, пожалуй, и бог знает что подумаете.

— Я ровно ничего не подумаю... Я только так спросил, и если у вас дело, то нет ничего легче, как ее вызвать. Сейчас схожу. А сам, будьте уверены, вам мешать не стану.

Действительно, минут через пять Лебезятников возвратился с Сонечкой. Та вошла в чрезвычайном удивлении и, по обыкновению своему, робея. Она всегда робела в подобных случаях и очень боялась новых лиц и новых знакомств, боялась и прежде, еще с детства, а теперь тем более... Петр Петрович встретил ее «ласково и вежливо», Впрочем с некоторым оттенком какой-то веселой фамильярности, приличной, Впрочем, по мнению Петра Петровича, такому почтенному и солидному человеку, как он, в отношении такого юного и в некотором смысле *интересного* существа. Он поспешил ее «ободрить» и посадил за стол, напротив себя. Соня села, посмотрела кругом — на Лебезятникова, на деньги, лежавшие на столе, и потом вдруг опять на Петра Петровича, и уже не отрывала более от него глаз, точно приковалась к нему. Лебезятников направился было к двери. Петр Петрович встал, знаком пригласил Соню сидеть и остановил Лебезятникова в дверях.

— Этот Раскольников там? Пришел он? — спросил он его шепотом.

— Раскольников? Там. А что? Да, там... Сейчас только вошел, я видел... А что?

— Ну, так я вас особенно попрошу остаться здесь, с нами, и не оставлять меня наедине с этой... девицей. Дело пустяшное, а выведут бог знает что. Я не хочу, чтобы Раскольников *там* передал... Понимаете, про что я говорю?

— А, понимаю, понимаю! — вдруг догадался Лебезятников. — Да, вы имеете право... Оно конечно, по моему личному убеждению, вы далеко хватаете в ваших опасениях, но... вы все-таки имеете право. Извольте, я остаюсь. Я стану здесь у окна и не буду вам мешать... По-моему, вы имеете право...

Петр Петрович воротился на диван, уселся напротив Сони, внимательно посмотрел на нее и вдруг принял чрезвычайно солидный, даже несколько строгий вид: «Дескать, ты-то сама чего не подумай, сударыня». Соня смутилась окончательно.

— Во-первых, вы, пожалуйста, извините меня, Софья Семеновна, перед многоуважаемой вашей мамашей... Так ведь, кажется? Заместо матери приходится вам Катерина-то Ивановна? — начал Петр Петрович, весьма солидно, но, Впрочем, довольно ласково. Видно было, что он имеет самые дружественные намерения.

— Так точно-с, так-с; заместо матери-с, — торопливо и пугливо ответила Соня.

— Ну-с, так вот и извините меня перед нею, что я, по обстоятельствам независящим,

принужден манкировать и не буду у вас на блинах... то есть на поминках, несмотря на милый зов вашей мамы.

— Так-с; скажу-с; сейчас-с. — И Сонечка торопливо вскочила со стула.

— *Еще* не всё-с, — остановил ее Петр Петрович, улыбнувшись на ее простоватость и незнание приличий, — и мало вы меня знаете, любезнейшая Софья Семеновна, если подумали, что из-за этой маловажной, касающейся одного меня причины я бы стал беспокоить лично и призывать к себе такую особу, как вы. Цель у меня другая-с.

Соня торопливо села. Серые и радужные кредитки, не убранные со стола, опять замелькали в ее глазах, но она быстро отвела от них лицо и подняла его на Петра Петровича: ей вдруг показалось ужасно неприличным, особенно ей, глядеть на чужие деньги. Она уставилась было взглядом на золотой лорнет Петра Петровича, который он придерживал в левой руке, а вместе с тем и на большой, массивный, чрезвычайно красивый перстень с желтым камнем, который был на среднем пальце этой руки — но вдруг и от него отвела глаза и, не зная уж куда деваться, кончила тем, что уставилась опять прямо в глаза Петру Петровичу. Помолчав еще солиднее, чем прежде, тот продолжал:

— Случилось мне вчера, мимоходом, перекинуть слова два с несчастною Катериной Ивановной. Двух слов достаточно было узнать, что она находится в состоянии — противоестественном, если только можно так выразиться...

— Да-с... в противоестественном-с, — торопясь, поддакивала Соня.

— Или проще и понятнее сказать — в больном.

— Да-с, проще и понят... да-с, больна-с.

— Так-с. Так вот, по чувству гуманности и-и-и, так сказать, сострадания, я бы желал быть, с своей стороны, чем-нибудь полезным, предвидя неизбежно несчастную участь ее. Кажется, и все беднейшее семейство это от вас одной теперь только и зависит.

— Позвольте спросить, — вдруг встала Соня, — вы ей что изволили говорить вчера о возможности пенсионера? Потому, она еще вчера говорила мне, что вы взялись ей пенсион выхлопотать. Правда это-с?

— Отнюдь нет-с, и даже в некотором смысле нелепость. Я только намекнул о временном вспоможении вдове умершего на службе чиновника, — если только будет протекция, — но, кажется, ваш покойный родитель не только не выслужил срока, но даже и не служил совсем в последнее время. Одним словом, надежда хоть и могла бы быть, но весьма эфемерная, потому никаких, в сущности, прав на вспоможение, в сем случае, не существует, а даже напротив. А она уже и о пенсионе задумала, хе-хе-хе! Бойкая барыня!

— Да-с, о пенсионе... Потому, она легковверная и добрая, и от доброты всему верит, и... и... и... у ней такой ум... Да-с... извините-с, — сказала Соня и опять встала уходить.

— Позвольте, вы еще не дослушали-с.

— Да-с, не дослушала-с, — пробормотала Соня.

— Так сядьте же-с.

Соня законфузилась ужасно и села опять, в третий раз.

— Видя таковое ее положение, с несчастными малолетними, желал бы, — как я и сказал уже, — чем-нибудь, по мере сил, быть полезным, то есть, что называется, по мере сил-с, не более. Можно бы, например, устроить в ее пользу подписку или, так сказать, лотерею... или что-нибудь в этом роде, — как это и всегда в подобных случаях устраивается близкими или хотя бы и посторонними, но вообще желающими помочь людьми. Вот об этом-то я имел намерение вам сообщить. Оно бы можно-с.

— Да-с, хорошо-с... Бог вас за это-с... — лепетала Соня, пристально смотря на Петра Петровича.

— Можно-с, но... это мы потом-с... то есть можно бы начать и сегодня. Вечером увидимся, сговоримся и положим, так сказать, основание. Зайдите ко мне сюда часов этак в семь. Андрей Семенович, надеюсь, тоже будет участвовать с нами... Но... тут есть одно обстоятельство, о котором следует предварительно и тщательно упомянуть. Для сего-то я

и обеспокоил вас, Софья Семеновна, моим зовом сюда. Именно-с, мое мнение, — что деньги нельзя, да и опасно давать в руки самой Катерине Ивановне; доказательство же сему — эти самые сегодняшние поминки. Не имея, так сказать, одной корки насущной пищи на завтрашний день и... ну, и обуви и всего, покупается сегодня ямайский ром и даже, кажется, мадера и-и-и кофе. Я видел, проходя. Завтра же опять все на вас обрушится, до последнего куса хлеба; это уже нелепо-с. А потому и подписка, по моему личному взгляду, должна произойти так, чтобы несчастная вдова, так сказать, и не знала о деньгах, а знали бы, например, только вы. Так ли я говорю?

— Я не знаю-с. Это только она сегодня-с так... это раз в жизни... ей уж очень хотелось помянуть, честь оказать, память... а она очень умная-с. А впрочем, как вам угодно-с, и я очень, очень, очень буду... они все будут вам... и вас Бог-с... и сироты-с...

Соня не договорила и заплакала.

— Так-с. Ну-с, так имейте в виду-с; а теперь благоволите принять, для интересов вашей родственницы, на первый случай, посылную сумму от меня лично. Весьма и весьма желаю, чтоб имя мое при сем не было упомянуто. Вот-с... имея, так сказать, сам заботы, более не в состоянии...

И Петр Петрович протянул Соне десятирублевый кредитный билет, тщательно развернув. Соня взяла, вспыхнула, вскочила, что-то пробормотала и поскорей стала откланиваться. Петр Петрович торжественно проводил ее до дверей. Она выскочила, наконец, из комнаты, вся взволнованная и измученная, и воротилась к Катерине Ивановне в чрезвычайном смущении.

Во все время этой сцены Андрей Семенович то стоял у окна, то ходил по комнате, не желая прерывать разговора; когда же Соня ушла, он вдруг подошел к Петру Петровичу и торжественно протянул ему руку.

— Я все слышал и все *видел*, — сказал он, особенно упирая на последнее слово. — Это благородно, то есть я хотел сказать, гуманно! Вы желали избежать благодарности, я видел! И хотя, признаюсь вам, я не могу сочувствовать, по принципу, частной благотворительности, потому что она не только не искореняет зла радикально, но даже питает его еще более, тем не менее не могу не признаться, что смотрел на ваш поступок с удовольствием, — да, да, мне это нравится.

— Э, все это вздор! — бормотал Петр Петрович, несколько в волнении и как-то приглядываясь к Лебезятникову.

— Нет, не вздор! Человек, оскорбленный и раздосадованный, как вы, вчерашним случаем и в то же время способный думать о несчастьи других, — такой человек-с... хотя поступками своими он делает социальную ошибку, — тем не менее... достоин уважения! Я даже не ожидал от вас, Петр Петрович, тем более что по вашим понятиям, о! как еще мешают вам ваши понятия! Как волнует, например, вас эта вчерашняя неудача, — восклицал добренький Андрей Семенович, опять почувствовав усиленное расположение к Петру Петровичу, — и к чему, к чему вам непременно этот брак, этот *законный* брак, благороднейший, любезнейший Петр Петрович? К чему вам непременно эта *законность* в браке? Ну, если хотите, так бейте меня, а я рад, рад, что он не удался, что вы свободны, что вы не совсем еще погибли для человечества, рад... Видите ли: я высказался!

— К тому-с, что в вашем гражданском браке я не хочу рогов носить и чужих детей разводить, вот к чему-с мне законный брак надобен, — чтобы что-нибудь ответить, сказал Лужин. Он был чем-то особенно занят и задумчив.

— Детей? Вы коснулись детей? — вздрогнул Андрей Семенович, как боевой конь, слышавший военную трубу, — дети — вопрос социальный и вопрос первой важности, я согласен; но вопрос о детях разрешится иначе. Некоторые даже совершенно отрицают детей, как всякий намек на семью. Мы поговорим о детях после, а теперь займемся рогами! Признаюсь вам, это мой слабый пункт. Это скверное, гусарское, пушкинское выражение даже немислимо в будущем лексиконе. Да и что такое рога? О, какое заблуждение! Какие рога? Зачем рога? Какой вздор! Напротив, в гражданском-то браке их

и не будет! Рога — это только естественное следствие всякого законного брака, так сказать, поправка его, протест, так что в этом смысле они даже несколько не унижительны... И если я когда-нибудь, — предположив нелепость, — буду в законном браке, то я даже рад буду вашим растреклятым рогам; я тогда скажу жене моей: «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протестовать!» Вы смеетесь? Это потому, что вы не в силах оторваться от предрассудков! Чёрт возьми, я ведь понимаю, в чем именно неприятность, когда надуют в законном: но ведь это только подлое следствие подлого факта, где унижены и тот и другой. Когда же рога ставятся открыто, как в гражданском браке, тогда уже их не существует, они немыслимы и теряют даже название рогов. Напротив, жена ваша докажет вам только, как она же уважает вас, считая вас неспособным воспротивиться ее счастью и настолько развитым, чтобы не мстить ей за нового мужа. Черт возьми, я иногда мечтаю, что, если бы меня выдали замуж, тьфу! если б я женился (по-гражданскому ли, по-законному ли, все равно), я бы, кажется, сам привел к жене любовника, если б она долго его не заводила. «Друг мой, — сказал бы я ей, — я тебя люблю, но еще сверх того желаю, чтобы ты меня уважала, — вот!» Так ли, так ли я говорю?..

Петр Петрович хихикал, слушая, но без особого увлечения. Он даже и мало слушал. Он действительно что-то обдумывал другое, и даже Лебезятников наконец это заметил. Петр Петрович был даже в волнении, потирал руки, задумывался. Все это Андрей Семенович после сообразил и припомнил...

II

Трудно было бы в точности обозначить причины, вследствие которых в расстроенной голове Катерины Ивановны зародилась идея этих бестолковых поминок. Действительно, на них ухлопаны были чуть ли не десять рублей из двадцати с лишком, полученных от Раскольникова собственно на похороны Мармеладова. Может быть, Катерина Ивановна считала себя обязанною перед покойником почтить его память «как следует», чтобы знали все жильцы, и Амалия Ивановна в особенности, что он был «не только их совсем не хуже, а, может быть, еще и гораздо лучше-с», и что никто из них не имеет права перед ним «свой нос задирать». Может быть, тут всего более имела влияния та особенная *гордость бедных*, вследствие которой при некоторых общественных обрядах, обязательных в нашем быту для всех и каждого, многие бедняки таращатся из последних сил и тратят последние сбереженные копейки, чтобы только быть «не хуже других» и чтобы «не осудили» их как-нибудь те другие. Весьма вероятно и то, что Катерине Ивановне захотелось именно при этом случае, именно в эту минуту, когда она, казалось бы, всеми на свете оставлена, показать всем этим «ничтожным и скверным жильцам», что она не только «умеет жить и умеет принять», но что совсем даже не для такой доли и была воспитана, а воспитана была в «благородном, можно даже сказать в аристократическом полковничьем доме», и уж вовсе не для того готовилась, чтобы самой мести пол и мыть по ночам детские тряпки. Эти пароксизмы гордости и тщеславия посещают иногда самых бедных и забытых людей и, по временам, обращаются у них в раздражительную, неудержимую потребность. А Катерина Ивановна была сверх того и не из забытых: ее можно было совсем убить обстоятельствами, но *забить* ее нравственно, то есть запугать и подчинить себе ее волю, нельзя было. сверх того, Сонечка весьма основательно про нее говорила, что у ней ум мешается. Положительно и окончательно этого еще, правда, нельзя было сказать, но действительно в последнее время, во весь последний год, ее бедная голова слишком измучилась, чтобы хоть отчасти не повредиться. Сильное развитие чахотки, как говорят медики, тоже способствует помешательству умственных способностей.

Вин во множественном числе и многоразличных сортов не было, *мадеры* тоже: это было преувеличено, но вино было. Были водка, ром и лиссабонское, всё сквернейшего качества, но всего в достаточном количестве. Из яств, кроме кутьи, было три-четыре

блюда (между прочим, и блины), всё с кухни Амалии Ивановны, да сверх того ставились разом два самовара для предполагавшихся после обеда чаю и пуншу. Закупками распорядилась сама Катерина Ивановна с помощью одного жильца, какого-то жалкого полячка, бог знает для чего проживавшего у г-жи Липпехель, который тотчас же прикомандировался на посылки к Катерине Ивановне и бегал весь вчерашний день и все это утро сломя голову и высунув язык, кажется особенно стараясь, чтобы заметно было это последнее обстоятельство. За каждым пустяком он поминутно прибегал к самой Катерине Ивановне, бегал даже отыскивать ее в Гостиный двор, называл ее беспрестанно: «пани [хорунжина](#)», и надоел ей, наконец, как редька, хотя сначала она и говорила, что без этого «услужливого и великодушного» человека она бы совсем пропала. В свойстве характера Катерины Ивановны было поскорее нарядить первого встречного и поперечного в самые лучшие и яркие краски, захвалить его так, что иному становилось даже совестно, придумать в его хвалу разные обстоятельства, которые совсем и не существовали, совершенно искренно и чистосердечно поверить самой в их действительность и потом вдруг, разом, разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать в толчки человека, которому она, только еще несколько часов назад, буквально поклонялась. От природы была она характера смешливого, веселого и миролюбивого, но от беспрерывных несчастий и неудач она до того *яростно* стала желать и требовать, чтобы все жили в мире и радости и *не смели* жить иначе, что самый легкий диссонанс в жизни, самая малейшая неудача стали приводить ее тотчас же чуть не в исступление, и она в один миг, после самых ярких надежд и фантазий, начинала клясть судьбу, рвать и метать все, что ни попадало под руку, и колотиться головой об стену. Амалия Ивановна тоже вдруг приобрела почему-то необыкновенное значение и необыкновенное уважение от Катерины Ивановны, единственно потому, может быть, что затеялись эти поминки и что Амалия Ивановна всем сердцем решила участвовать во всех хлопотах: она взялась накрыть стол, доставить белье, посуду и проч. и приготовить на своей кухне кушанье. Ее уполномочила во всем и оставила по себе Катерина Ивановна, сама отправляясь на кладбище. Действительно, все было приготовлено на славу: стол был накрыт даже довольно чисто, посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, чашки, все это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокалиберное, от разных жильцов, но все было к известному часу на своем месте, и Амалия Ивановна, чувствуя, что отлично исполнила дело, встретила возвратившихся даже с некоторою гордостью, вся разодетая, в чепце с новыми траурными лентами и в черном платье. Эта гордость, хотя и заслуженная, не понравилась почему-то Катерине Ивановне: «в самом деле, точно без Амалии Ивановны и стола бы не сумели накрыть!» Не понравился ей тоже и чепец с новыми лентами: «уж не гордится ли, чего доброго, эта глупая немка тем, что она хозяйка и из милости согласилась помочь бедным жильцам? Из милости! Прошу покорно! У папеньки Катерины Ивановны, который был полковник и чуть-чуть не губернатор, стол накрывался иной раз на сорок персон, так что какую-нибудь Амалию Ивановну, или, лучше сказать, Людвиговну, туда и на кухню бы не пустили...» Впрочем, Катерина Ивановна положила до времени не высказывать своих чувств, хотя и решила в своем сердце, что Амалию Ивановну непременно надо будет сегодня же осадить и напомнить ей ее настоящее место, а то она бог знает что об себе замечает, покамест же обошлась с ней только холодно. Другая неприятность тоже отчасти способствовала раздражению Катерины Ивановны: на похоронах из жильцов, званных на похороны, кроме полячка, который успел-таки забежать и на кладбище, никто почти не был; к поминкам же, то есть к закуске, явились из них всё самые незначительные и бедные, многие из них не в своем даже виде, так, дрянь какая-то. Которые же из них постарше и посолиднее, те все, как нарочно, будто сговорившись, манкировали. Петр Петрович Лужин, например, самый, можно сказать, солиднейший из всех жильцов, не явился, а между тем еще вчера же вечером Катерина Ивановна уже успела наговорить всем на свете, то есть Амалии Ивановне, Полечке, Соне и полячку, что это благороднейший, великодушнейший человек, с огромнейшими связями

и с состоянием, бывший друг ее первого мужа, принятый в доме ее отца и который обещал употребить все средства, чтобы выхлопотать ей значительный пенсион. Заметим здесь, что если Катерина Ивановна и хвалилась чьими-нибудь связями и состоянием, то это без всякого интереса, безо всякого личного расчета, совершенно бескорыстно, так сказать, от полноты сердца, из одного только удовольствия восхвалить и придать еще более цены хвалимому. За Лужиным и, вероятно, «беря с него пример», не явился и «этот скверный мерзавец Лебезятников». «Уж этот-то что об себе думает? Его только из милости пригласили, и то потому, что он с Петром Петровичем в одной комнате стоит и знакомый его, так неловко было не пригласить». Не явилась тоже и одна тонная дама с своею «перезрелую девой», дочерью, которые хотя и проживали всего только недели с две в номерах у Амалии Ивановны, но несколько уже раз жаловались на шум и крик, подымавшийся из комнаты Мармеладовых, особенно когда покойник возвращался пьяный домой, о чем, конечно, стало уже известно Катерине Ивановне, через Амалию же Ивановну, когда та, бранясь с Катериной Ивановной и грозясь прогнать всю семью, кричала во все горло, что они беспокоят «благородных жильцов, которых ноги не сто́ят». Катерина Ивановна нарочно положила теперь пригласить эту даму и ее дочь, которых «ноги она будто бы не стоила», тем более что до сих пор, при случайных встречах, та высокомерно отвертывалась, — так вот чтобы знала же она, что здесь «благороднее мыслят и чувствуют и приглашают, не помня зла», и чтобы видели они, что Катерина Ивановна и не в такой доле привыкла жить. Об этом непременно предполагалось им объяснить за столом, равно как и о губернаторстве покойного папеньки, а вместе с тем косвенно заметить, что нечего было при встречах отворачиваться и что это было чрезвычайно глупо. Не пришел тоже и толстый подполковник (в сущности, отставной штабс-капитан), но оказалось, что он «без задних ног» еще со вчерашнего утра. Одним словом, явились только: полячок, потом один плюгавенький канцелярист без речей, в засаленном фраке, в угрях и с противным запахом; потом еще один глухой и почти совсем слепой старичок, когда-то служивший в каком-то почтамте и которого кто-то с незапамятных времен и неизвестно для чего содержал у Амалии Ивановны. Явился тоже один пьяный отставной поручик, в сущности провиантский чиновник, с самым неприличным и громким хохотом и, «представьте себе», без жилета! Один какой-то сел прямо за стол, даже не поклонившись Катерине Ивановне, и, наконец, одна личность, за неимением платья, явилась было в халате, но уж это было до такой степени неприлично, что стараниями Амалии Ивановны и полячка успели-таки его вывести. Полячок, впрочем, привел с собою еще каких-то двух других полячков, которые вовсе никогда и не жили у Амалии Ивановны и которых никто до сих пор в номерах не видал. Все это чрезвычайно неприятно раздражило Катерину Ивановну. «Для кого же после этого делались все приготовления?» Даже детей, чтобы выгадать место, посадили не за стол, и без того занявший всю комнату, а накрыли им в заднем углу на сундуке, причем обоих маленьких усадили на скамейку, а Полечка, как большая, должна была за ними присматривать, кормить их и утирать им, «как благородным детям», носики. Одним словом, Катерина Ивановна поневоле должна была встретить всех с удвоенною важностью и даже с высокомерием. Особенно строго оглядела она некоторых и свысока пригласила сесть за стол. Считая почему-то, что за всех неявившихся должна быть в ответе Амалия Ивановна, она вдруг стала обращаться с ней до крайности небрежно, что та немедленно заметила и до крайности была этим пикирована. Такое начало не предвещало хорошего конца. Наконец уселись.

Раскольников вошел почти в ту самую минуту, как воротились с кладбища. Катерина Ивановна ужасно обрадовалась ему, во-первых, потому, что он был единственный «образованный гость» из всех гостей и, «как известно, через два года готовился занять в здешнем университете профессорскую кафедру», а во-вторых, потому, что он немедленно и почтительно извинился перед нею, что, несмотря на все желание, не мог быть на похоронах. Она так на него и накинулась, посадила его за стол подле себя по левую руку

(по правую села Амалия Ивановна) и, несмотря на непрерывную суету и хлопоты о том, чтобы правильно разносилось кушанье и всем доставалось, несмотря на мучительный кашель, который поминутно прерывал и душил ее и, кажется, особенно укоренился в эти последние два дня, непрерывно обращалась к Раскольникову и полусшепотом спешила излить перед ним все накопившиеся в ней чувства и все справедливое негодование свое на неудавшиеся поминки; причем негодование сменялось часто самым веселым, самым неудержимым смехом над собравшимися гостями, но преимущественно над самою хозяйкой.

— Во всем эта кукушка виновата. Вы понимаете, о ком я говорю: об ней, об ней! — И Катерина Ивановна закивала ему на хозяйку. — Смотрите на нее: вытаращила глаза, чувствует, что мы о ней говорим, да не может понять, и глаза вылупила. Фу, сова! ха-ха-ха!.. Кхи-кхи-кхи! И что это она хочет показать своим чепчиком! кхи-кхи-кхи! Заметили вы, ей все хочется, чтобы все считали, что она покровительствует и мне честь делает, что присутствует. Я просила ее, как порядочную, пригласить народ получше и именно знакомых покойного, а смотрите, кого она привела: шуты какие-то! [чумички](#)! Посмотрите на этого с нечистым лицом: это какая-то сопля на двух ногах! А эти полячишки... ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи! Никто, никто их никогда здесь не видывал, и я никогда не видала; ну зачем они пришли, я вас спрошу? Сидят чинно рядышком. Пане, гей! — закричала она вдруг одному из них, — взяли вы блинов? Возьмите еще! Пива выпейте, пива! Водки не хотите ли? Смотрите: вскочил, раскланивается, смотрите, смотрите: должно быть, совсем голодные, бедные! Ничего, пусть поедят. Не шумят по крайней мере, только... только, право, я боюсь за хозяйские серебряные ложки!.. Амалия Ивановна! — обратилась она вдруг к ней почти вслух, — если на случай покрадут ваши ложки, то я вам за них не отвечаю, преду-преждаю заранее! Ха-ха-ха! — залилась она, обращаясь опять к Раскольникову, опять кивая ему на хозяйку и радуясь своей выходке. — Не поняла, опять не поняла! Сидит разиня рот, смотрите: сова, сова настоящая, сычиха в новых лентах, ха-ха-ха!

Тут смех опять превратился в нестерпимый кашель, продолжавшийся пять минут. На платке осталось несколько крови, на лбу выступили капли пота. Она молча показала кровь Раскольникову и, едва отдыхнувшись, тотчас же зашептала ему опять с чрезвычайным одушевлением и с красными пятнами на щеках:

— Посмотрите, я дала ей самое тонкое, можно сказать, поручение пригласить эту даму и ее дочь, понимаете, о ком я говорю? Тут надобно вести себя самым деликатнейшим манером, действовать самым искусным образом, а она сделала так, что эта приезжая дура, эта заносчивая тварь, эта ничтожная провинциалка, потому только, что она какая-то там вдова майора и приехала хлопотать о пенсии и обивать подол по присутственным местам, что она в пятьдесят пять лет [сурьмится](#), белится и румянится (это известно)... и такая-то тварь не только не заблагорассудила явиться, но даже не прислала извиниться, коли не могла прийти, как в таких случаях самая обыкновенная вежливость требует! Понять не могу, почему не пришел тоже Петр Петрович? Но где же Соня? Куда ушла? А, вот и она наконец! Что, Соня, где была? Странно, что ты даже на похоронах отца так неаккуратна. Родион Романыч, пустите ее подле себя. Вот твое место, Сонечка... чего хочешь бери. Заливного возьми, это лучше. Сейчас блины принесут. А детям дали? Полечка, всё ли у вас там есть? Кхи-кхи-кхи! Ну, хорошо. Будь умница, Леня, а ты, Коля, не болтай ножками; сиди, как благородный ребенок должен сидеть. Что ты говоришь, Сонечка?

Соня поспешила тотчас же передать ей извинение Петра Петровича, стараясь говорить вслух, чтобы все могли слышать, и употребляя самые отборно почтительные выражения, нарочно даже подсочиненные от лица Петра Петровича и разукрашенные ею. Она прибавила, что Петр Петрович велел особенно передать, что он, как только ему будет возможно, немедленно прибудет, чтобы поговорить *о делах* наедине и условиться о том, что можно сделать и предпринять в дальнейшем, и проч. и проч.

Соня знала, что это умирит и успокоит Катерину Ивановну, польстит ей, а главное —

гордость ее будет удовлетворена. Она села подле Раскольникова, которому наскоро поклонилась, и мельком любопытно на него поглядела. Впрочем, во все остальное время как-то избегала и смотреть на него, и говорить с ним. Она была как будто даже рассеянна, хотя так и смотрела в лицо Катерине Ивановне, чтоб угодить ей. Ни она, ни Катерина Ивановна не были в трауре, за неимением платьев; на Соне было какое-то коричневое, потемнее, а на Катерине Ивановне единственное ее платье, ситцевое, темненькое с полосками. Известие о Петре Петровиче прошло как по маслу. Выслушав важно Соню, Катерина Ивановна с той же важностью осведомилась: как здоровье Петра Петровича? Затем, немедленно и чуть не вслух, *прошептала* Раскольникову, что действительно странно было бы уважаемому и солидному человеку, как Петр Петрович, попасть в такую «необыкновенную компанию», несмотря даже на всю его преданность ее семейству и на старую дружбу его с ее папенькой.

— Вот почему я особенно вам благодарна, Родион Романыч, что вы не погнушались моим хлебом-солью, даже и при такой обстановке, — прибавила она почти вслух, — впрочем, уверена, что только особенная дружба ваша к моему бедному покойнику побудила вас сдержать ваше слово.

Затем она еще раз гордо и с достоинством осмотрела своих гостей и вдруг с особенною заботливостью осведомилась громко и через стол у глухого старичка: «Не хочет ли он еще жаркого и давали ли ему лиссабонского?» Старичок не ответил и долго не мог понять, о чем его спрашивают, хотя соседи для смеху даже стали его расталкивать. Он только озирался кругом разиня рот, чем еще больше поджег общую веселость.

— Вот какой олух! Смотрите, смотрите! И на что его привели? Что же касается до Петра Петровича, то я всегда была в нем уверена, — продолжала Катерина Ивановна Раскольникову, — и уж, конечно, он не похож... — резко и громко и с чрезвычайно строгим видом обратилась она к Амалии Ивановне, отчего та даже оробела, — не похож на тех ваших расфуфыренных шлепохвостниц, которых у папеньки в кухарки на кухню не взяли бы, а покойник муж, уж конечно, им бы честь сделал, принимая их, и то разве только по неистощимой своей доброте.

— Да-с, любил-с выпить; это любил-с, пивали-с! — крикнул вдруг отставной провиантский, осушая двенадцатую рюмку водки.

— Покойник муж действительно имел эту слабость, и это всем известно, — так и вцепилась вдруг в него Катерина Ивановна, — но это был человек добрый и благородный, любивший и уважавший семью свою; одно худо, что по доброте своей слишком доверялся всяким развратным людям и уж бог знает с кем он не пил, с теми, которые даже подошвы его не стоили! Вообразите, Родион Романыч, в кармане у него пряничного петушка нашла: мертво-пьяный идет, а про детей помнит.

— Пе-туш-ка? Вы изволили сказать: пе-туш-ка? — крикнул провиантский господин.

Катерина Ивановна не удостоила его ответом. Она о чем-то задумалась и вздохнула.

— Вот вы, наверно, думаете, как и все, что я с ним слишком строга была, — продолжала она, обращаясь к Раскольникову. — А ведь это не так! Он меня уважал, он меня очень, очень уважал! Доброй души был человек! И так его жалко становилось иной раз! Сидит, бывало, смотрит на меня из угла, так жалко станет его, хотелось бы приласкать, а потом и думаешь про себя: «приласкаешь, а он опять напьется», только строгостию сколько-нибудь и удержать можно было.

— Да-с, бывало-с дранье вихров-с, бывало-с, неоднократно-с, — проревел опять провиантский и влил в себя еще рюмку водки.

— Не только драньем вихров, но даже и помелом было бы полезно обойтись с иными дураками. Я не о покойнике теперь говорю! — отрезала Катерина Ивановна провиантскому.

Красные пятна на щеках ее рдели все сильнее и сильнее, грудь ее колыхалась. Еще минута, и она уже готова была начать историю. Многие хихикали, многим, видимо, было это приятно. Провиантского стали подталкивать и что-то шептать ему. Их, очевидно,

хотели сравнить.

— А па-а-азвольте спросить, это вы насчет чего-с, — начал провиантский, — то есть на чей... благородный счет... вы изволили сейчас... А впрочем, не надо! Вздор! Вдова! Вдовица! Прощаю... Пас! — И он стукнул опять водки.

Раскольников сидел и слушал молча и с отвращением. Ел же он только разве из учтивости прикасаясь к кускам, которые поминутно накладывала на его тарелку Катерина Ивановна, и то только чтоб ее не обидеть. Он пристально приглядывался к Соне. Но Соня становилась все тревожнее и озабоченнее; она тоже предчувствовала, что поминки мирно не кончатся, и со страхом следила за возрастающим раздражением Катерины Ивановны. Ей, между прочим, было известно, что главною причиной, по которой обе приезжие дамы так презрительно обошлись с приглашением Катерины Ивановны, была она, Соня. Она слышала от самой Амалии Ивановны, что мать даже обиделась приглашением и предложила вопрос: «Каким образом она могла бы посадить рядом с *этой девицей* свою дочь?» Соня предчувствовала, что Катерине Ивановне как-нибудь уже это известно, а обида ей, Соне, значила для Катерины Ивановны более, чем обида ей лично, ее детям, ее папеньке, одним словом, была обидой смертельною, и Соня знала, что уж Катерина Ивановна теперь не успокоится, «пока не докажет этим шлепохвосткам, что они обе» и т. д. и т. д. Как нарочно, кто-то переслал с другого конца стола Соне тарелку с вылепленными на ней, из черного хлеба, двумя сердцами, пронзенными стрелой. Катерина Ивановна вспыхнула и тотчас же громко заметила, через стол, что переславший, конечно, «пьяный осел». Амалия Ивановна, тоже предчувствовавшая что-то недоброе, а вместе с тем оскорбленная до глубины души высокомерием Катерины Ивановны, чтобы отвлечь неприятное настроение общества в другую сторону и кстати уж чтоб поднять себя в общем мнении, начала вдруг, ни с того ни с сего, рассказывать, что какой-то знакомый ее, «Карль из аптеки», ездил ночью на извозчике и что «извозчик хотел его убивать и что Карль его ошечь, ошечь просиль, чтоб он его не убивать, и плакать, и руки сложить, и испугать, и от страх ему сердце пронзиль». Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчас же заметила, что Амалии Ивановне не следует по-русски анекдоты рассказывать. Та еще больше обиделась и возразила, что ее «фатер аус Берлин буль ошечь, ошечь важны шеловек и всё руки по карман ходиль». Смешливая Катерина Ивановна не вытерпела и ужасно расхохоталась, так что Амалия Ивановна стала уже терять последнее терпение и едва крепилась.

— Вот сычиха-то! — зашептала тотчас же опять Катерина Ивановна Раскольникову, почти развеселившись, — хотела сказать: носил руки в карманах, а вышло, что он по карманам лазил, кхи-кхи! И заметили ль вы, Родион Романович, раз навсегда, что все эти петербургские иностранцы, то есть, главное, немцы, которые к нам откудова-то приезжают, все глупее нас! Ну согласитесь, ну можно ли рассказывать о том, что «Карль из аптеки страхом сердце пронзиль» и что он (сопляк!), вместо того чтобы связать извозчика, «руки сложить и плакать и ошечь просиль». Ах, дурында! И ведь думает, что это очень трогательно, и не подозревает, как она глупа! По-моему, этот пьяный провиантский гораздо ее умнее; по крайней мере, уж видно, что забулдыга, последний ум пропил, а ведь эти все такие чинные, серьезные... Ишь сидит, глаза вылупила. Сердится! Сердится! Ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи!

Развеселившись, Катерина Ивановна тотчас же увлеклась в разные подробности и вдруг заговорила о том, как при помощи выхлопотанной пенсии она непременно заведет в своем родном городе Т... пансион для благородных девиц. Об этом еще не было сообщено Раскольникову самою Катериной Ивановной, и она тотчас же увлеклась в самые соблазнительные подробности. Неизвестно каким образом вдруг очутился в ее руках тот самый «похвальный лист», о котором уведомлял Раскольникова еще покойник Мармеладов, объясняя ему в распивочной, что Катерина Ивановна, супруга его, при выпуске из института танцевала с шалью «при губернаторе и при прочих лицах». Похвальный лист этот, очевидно, должен был теперь послужить свидетельством о праве

Катерины Ивановны самой завести пансион; но главное, был припасен с той целью, чтобы окончательно срезать «обоих расфуфыренных шлепохвостниц», на случай если б они пришли на поминки, и ясно доказать им, что Катерина Ивановна из самого благородного, «можно даже сказать, аристократического дома, полковничья дочь и уж наверно получше иных искательниц приключений, которых так много расплодилось в последнее время». Похвальный лист тотчас же пошел по рукам пьяных гостей, чему Катерина Ивановна не препятствовала, потому что в нем действительно было обозначено *en toutes lettres*², что она [дочь надворного советника](#) и кавалера, а следовательно, и в самом деле почти полковничья дочь. Воспламенившись, Катерина Ивановна немедленно распространилась о всех подробностях будущего прекрасного и спокойного житья-бытья в Т...; об учителях гимназии, которых она пригласит для уроков в свой пансион; об одном почтенном старичке, французе Манго, который учил по-французски еще самое Катерину Ивановну в институте и который еще и теперь доживает свой век в Т... и наверно пойдет к ней за самую сходную плату. Дошло, наконец, дело и до Сони, «которая отправится в Т... вместе с Катериной Ивановной и будет ей там во всем помогать». Но тут вдруг кто-то фыркнул в конце стола. Катерина Ивановна хоть и постаралась тотчас же сделать вид, что с пренебрежением не замечает возникшего в конце стола смеха, но тотчас же, нарочно возвысив голос, стала с одушевлением говорить о несомненных способностях Софьи Семеновны служить ей помощницей, «о ее кротости, терпении, самоотвержении, благородстве и образовании», причем потрепала Соню по щечке и, привстав, горячо два раза ее поцеловала. Соня вспыхнула, а Катерина Ивановна вдруг расплакалась, тут же заметив про самое себя, что «она слабонервная дура и что уж слишком расстроена, что пора кончать, и так как закуска уж кончена, то разносить бы чай». В эту самую минуту Амалия Ивановна, уже окончательно обиженная тем, что во всем разговоре она не принимала ни малейшего участия и что ее даже совсем не слушают, вдруг рискнула на последнюю попытку и с потаенною тоской осмелилась сообщить Катерине Ивановне одно чрезвычайно дельное и глубокомысленное замечание о том, что в будущем пансионе надо обращать особенно внимание на чистое белье девиц (ди веше) и что «непремен должен буль одна такая хороши дам (ди даме), чтоб карашо про белье смотреть», и второе, «чтоб все молоды девиц тихонько по ночам никакой роман не читаль». Катерина Ивановна, которая действительно была расстроена и очень устала и которой уже совсем надоели поминки, тотчас же «отрезала» Амалии Ивановне, что та «мелет вздор» и ничего не понимает; что заботы об ди веше дело кастелянши, а не директрисы благородного пансиона; а что касается до чтения романов, так уж это просто даже неприличности, и что она просит ее замолчать. Амалия Ивановна вспыхнула и, озлобившись, заметила, что она только «добра желаль» и что она «много ошень добра желаль», а что ей «за квартир давно уж [гельд не платиль](#)». Катерина Ивановна тотчас же «осадила» ее, сказав, что она лжет, говоря, что «добра желаль», потому что еще вчера, когда покойник еще на столе лежал, она ее за квартиру мучила. На это Амалия Ивановна весьма последовательно заметила, что она «тех дам приглашаль, но что те дам не пришошь, потому что те дам благородный дам и не могут пришошь к неблагородный дам». Катерина Ивановна тотчас же «подчеркнула» ей, что так как она чумичка, то и не может судить о том, что такое истинное благородство. Амалия Ивановна не снесла и тотчас же заявила, что ее «фатер аус Берлин буль ошень, ошень важны шеловек и обе рук по карман ходиль и все делаль этак: пуф! пуф!», и чтобы действительно представить своего фатера, Амалия Ивановна привскочила со стула, засунула свои обе руки в карманы, надула щеки и стала издавать какие-то неопределенные звуки ртом, похожие на пуф-пуф, при громком хохоте всех жильцов, которые нарочно поощряли Амалию Ивановну своим одобрением, предчувствуя схватку. Но этого уже не могла вытерпеть Катерина Ивановна и немедленно, во всеуслышание, «отчеканила», что у Амалии Ивановны, может, никогда и фатера-то не было, а что просто Амалия Ивановна — петербургская пьяная чухонка и, наверно, где-нибудь прежде в кухарках жила, а пожалуй, и того хуже. Амалия Ивановна покраснела

как рак и завизжала, что это, может быть, у Катерины Ивановны «совсем фатер не буль; а что у ней буль фатер аус Берлин, и таки длинны сюртук носиль, и все делаль: пуф, пуф, пуф!». Катерина Ивановна с презрением заметила, что ее происхождение всем известно и что в этом самом похвальном листе обозначено печатными буквами, что отец ее полковник; а что отец Амалии Ивановны (если только у ней был какой-нибудь отец), наверно, какой-нибудь петербургский чухонец, молоко продавал; а вернее всего, что и совсем отца не было, потому что еще до сих пор неизвестно, как зовут Амалию Ивановну по батюшке: Ивановна или Людвиговна? Тут Амалия Ивановна, рассвирепев окончательно и ударяя кулаком по столу, принялась визжать, что она Амаль-Иван, а не Людвиговна, что ее фатер «зваль Иоган и что он буль бурмейстер», а что фатер Катерины Ивановны «совсем никогда буль бурмейстер». Катерина Ивановна встала со стула и строго, по-видимому, спокойным голосом (хотя вся бледная и с глубоко подымавшеюся грудью), заметила ей, что если она хоть только один еще раз осмелится «сопоставить на одну доску своего дрянного фатеришку с ее папенькой, то она, Катерина Ивановна, сорвет с нее чепчик и растопчет его ногами». Услышав это, Амалия Ивановна забежала по комнате, крича изо всех сил, что она хозяйка и чтоб Катерина Ивановна «в сию минуту съезжалъ с квартир»; затем бросилась для чего-то собирать со стола серебряные ложки. Поднялся гам и грохот; дети заплакали. Соня бросилась было удерживать Катерину Ивановну, но когда Амалия Ивановна вдруг закричала что-то про желтый билет, Катерина Ивановна отпихнула Соню и пустилась к Амалии Ивановне, чтобы немедленно привести свою угрозу, насчет чепчика, в исполнение. В эту минуту отворилась дверь, и на пороге комнаты вдруг показался Петр Петрович Лужин. Он стоял и строгим, внимательным взглядом оглядывал всю компанию. Катерина Ивановна бросилась к нему.

III

— Петр Петрович! — закричала она, — защитите хоть вы! Внушите этой глупой твари, что не смеет она так обращаться с благородной дамой в несчастье, что на это есть суд... я к самому генерал-губернатору... Она ответит... Помня хлеб-соль моего отца, защитите сирот.

— Позвольте, сударыня... Позвольте, позвольте, сударыня, — отмахивался Петр Петрович, — папеньки вашего, как и известно вам, я совсем не имел чести знать... позвольте, сударыня! (кто-то громко захохотал), а в ваших непрерывных распрях с Амалией Ивановной я участвовать не намерен-с... Я по своей надобности... и желаю объясниться, немедленно, с падчерицей вашей, Софьей... Ивановной... Кажется, так-с? Позвольте пройти-с...

И Петр Петрович, обойдя бочком Катерину Ивановну, направился в противоположный угол, где находилась Соня.

Катерина Ивановна как стояла на месте, так и осталась, точно громом пораженная. Она понять не могла, как мог Петр Петрович отречься от хлеба-соли ее папеньки. Выдумав раз эту хлеб-соль, она уже ей свято сама верила. Поразил ее и деловой, сухой, полный даже какой-то презрительной угрозы тон Петра Петровича. Да и все как-то притихли, мало-помалу, при его появлении. Кроме того что этот «деловой и серьезный» человек слишком уж резко не гармонировал со всею компаниею, кроме того видно было, что он за чем-то важным пришел, что, вероятно, какая-нибудь необыкновенная причина могла привлечь его в такую компанию и что, стало быть, сейчас что-то случится, что-то будет. Раскольников, стоявший подле Сони, посторонился пропустить его; Петр Петрович, казалось, совсем его не заметил. Через минуту на пороге показался и Лебезятников: в комнату он не вошел, но остановился тоже с каким-то особенным любопытством, почти с удивлением; прислушивался, но, казалось, долго чего-то понять не мог.

— Извините, что я, может быть, прерываю, но дело довольно важное-с, — заметил Петр Петрович, как-то вообще и не обращая ни к кому в особенности, — я даже и рад

при публике. Амалия Ивановна, прошу вас покорнейше, в качестве хозяйки квартиры, обратить внимание на мой последующий разговор с Софьей Ивановной. Софья Ивановна, — продолжал он, обращаясь прямо к чрезвычайно удивленной и уже заранее испуганной Соне, — со стола моего, в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же вслед за посещением вашим, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет сторублевого достоинства. Если каким бы то ни было образом вы знаете и укажете нам, где он теперь находится, то уверяю вас честным словом и беру всех в свидетели, что дело тем только и кончится. В противном же случае принужден буду обратиться к мерам весьма серьезным, тогда... пеняйте уже на себя-с!

Совершенное молчание воцарилось в комнате. Даже плакавшие дети затихли. Соня стояла мертво-бледная, смотрела на Лужина и ничего не могла отвечать. Она как будто еще и не понимала. Прошло несколько секунд.

— Ну-с, так как же-с? — спросил Лужин, пристально смотря на нее.

— Я не знаю... Я ничего не знаю... — слабым голосом проговорила наконец Соня.

— Нет? Не знаете? — переспросил Лужин и еще несколько секунд помолчал. —

Подумайте, мадемуазель, — начал он строго, но все еще как будто увещевая, — обсудите, я согласен вам дать еще время на размышление. Извольте видеть-с: если бы я не был так уверен, то уж, разумеется, при моей опытности, не рискнул бы так прямо вас обвинить; ибо за подобное, прямое и гласное, но ложное или даже только ошибочное, обвинение я, в некотором смысле, сам отвечаю. Я это знаю-с. Утром сегодня я разменял, для своих надобностей, несколько пятипроцентных билетов, на сумму, номинально, в три тысячи рублей. Расчет у меня записан в бумажнике. Придя домой, я, — свидетель тому Андрей Семенович, — стал считать деньги и, сосчитав две тысячи триста рублей, спрятал их в бумажник, а бумажник в боковой карман сюртука. На столе оставалось около пятисот рублей, кредитными билетами, и между ними три билета, по сто рублей каждый. В эту минуту прибыли вы (по моему зову) — и все время у меня пребывали потом в чрезвычайном смущении, так что даже три раза, среди разговора, вставали и спешили почему-то уйти, хотя разговор наш еще не был окончен. Андрей Семенович может все это засвидетельствовать. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении вашей родственницы, Катерины Ивановны (к которой я не мог прийти на поминки), и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились (я рассказываю все так, как было, чтобы, во-первых, напомнить вам, а во-вторых, показать вам, что из памяти моей не изгладилась ни малейшая черта). Затем я взял со стола десятирублевый кредитный билет и подал вам, от своего имени, для интересов вашей родственницы и в видах первого вспоможения. Все это видел Андрей Семенович. Затем я вас проводил до дверей, — все в том же, с вашей стороны, смущении, — после чего, оставшись наедине с Андреем Семеновичем и переговорив с ним минут около десяти, Андрей Семенович вышел, я же снова обратился к столу, с лежавшими на нем деньгами, с целью, сосчитав их, отложить, как и предполагал я прежде, особо. К удивлению моему, одного сторублевого билета, в числе прочих, не оказалось. Извольте же рассудить: заподозрить Андрея Семеновича я уж никак не могу-с; даже предположения стыжусь. Ошибиться в счете я тоже не мог, потому что, за минуту перед вашим приходом, окончив все счета, я нашел итог верным. Согласитесь сами, что, припоминая ваше смущение, торопливость уйти и то, что вы держали руки, некоторое время, на столе; взяв, наконец, в соображение общественное положение ваше и сопряженные с ним привычки, я, так сказать, с ужасом, и даже против воли моей, *принужден* был остановиться на подозрении, — конечно, жестоком, но — справедливом-с! Прибавлю еще и повторю, что, несмотря на всю мою очевидную уверенность, понимаю, что все-таки в теперешнем обвинении моем присутствует некоторый для меня риск. Но, как видите, я не оставил втуне; я восстал и скажу вам отчего: единственно, сударыня,

единственно по причине чернейшей неблагодарности вашей! Как? Я же вас приглашаю в интересах беднейшей родственницы вашей, я же предоставляю вам посильное подаяние мое в десять рублей, и вы же, тут же, сейчас же, платите мне за все это подобным поступком! Нет-с, это уж нехорошо-с! Необходим урок-с. Рассудите же; мало того, как истинный друг ваш, прошу вас (ибо лучше друга не может быть у вас в эту минуту), опомнитесь! Иначе буду неумолим! Ну-с, итак?

— Я ничего не брала у вас, — прошептала в ужасе Соня, — вы дали мне десять рублей, вот возьмите их. — Соня вынула из кармана платок, отыскала узелок, развязала его, вынула десятирублевую бумажку и протянула руку Лужину.

— А в остальных ста рублях вы так и не признаетесь? — укоризненно и настойчиво произнес он, не принимая билета.

Соня осмотрелась кругом. Все глядели на нее с такими ужасными, строгими, насмешливыми, ненавистными лицами. Она взглянула на Раскольников... тот стоял у стены, сложив накрест руки, и огненным взглядом смотрел на нее.

— О Господи! — вырвалось у Сони.

— Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию, а потому, покорнейше прошу вас, пошлите покамест за дворником, — тихо и даже ласково проговорил Лужин.

— Гот дер бармгерциге!³ Я так и зналь, что она вороваль! — всплеснула руками Амалия Ивановна.

— Вы так и знали? — подхватил Лужин, — стало быть, уже и прежде имели хотя бы некоторые основания так заключать. Прошу вас, почтеннейшая Амалия Ивановна, запомнить слова ваши, произнесенные, впрочем, при свидетелях.

Со всех сторон поднялся вдруг громкий говор. Все зашевелились.

— Ка-а-к! — вскрикнула вдруг, опомнившись, Катерина Ивановна и, точно сорвалась, бросилась к Лужину, — как! Вы ее в покраже обвиняете? Это Соню-то? Ах, подлецы, подлецы! — И, бросившись к Соне, она, как в тисках, обняла ее иссохшими руками.

— Соня! Как ты смела брать от него десять рублей! О глупая! Поддай сюда! Поддай сейчас эти десять рублей! — вот!

И, выхватив у Сони бумажку, Катерина Ивановна скомкала ее в руках и бросила наотмашь прямо в лицо Лужину. Катышек попал в глаз и отскочил на пол. Амалия Ивановна бросилась поднимать деньги. Петр Петрович рассердился.

— Удержите эту сумасшедшую! — закричал он.

В дверях в эту минуту рядом с Лебезятниковым показалось и еще несколько лиц, между которыми выглядывали и обе приезжие дамы.

— Как! Сумасшедшую? Это я-то сумасшедшая? Дурак! — взвизгнула Катерина Ивановна. — Сам ты дурак, крючок судейский, низкий человек! Соня, Соня возьмет у него деньги! Это Соня-то воровка! Да она еще тебе даст, дурак! — И Катерина Ивановна истерически захохотала. — Видали ль вы дурака? — бросилась она во все стороны, показывая всем на Лужина. — Как! И ты тоже? — увидала она хозяйку, — и ты туда же, колбасница, подтверждаешь, что она «вороваль», подлая ты прусская куриная нога в кринолине! Ах вы! Ах вы! Да она и из комнаты-то не выходила и, как пришла от тебя, подлеца, тут же рядом подле Родиона Романовича и села!.. Общайте ее! Коль она никуда не выходила, стало быть, деньги должны быть при ней! Ищи же, ищи, ищи! Только если ты не найдешь, то уж извини, голубчик, ответишь! К государю, к государю, к самому царю побегу, милосердному, в ноги брошусь, сейчас же, сегодня же! я — сирота! Меня пустят! Ты думаешь, не пустят? Врешь, дойду! Дойду-у! Это ты на то, что она кроткая, рассчитывал? Ты на это-то понадеялся? Да я, брат, зато бойкая! Оборвешься! Ищи же! Ищи, ищи, ну, ищи!!

И Катерина Ивановна, в исступлении, теребила Лужина, таща его к Соне.

— Я готов-с и отвечаю... но уймись, сударыня, уймись! Я слишком вижу, что вы бойкая!.. Это... это... это как же-с? — бормотал Лужин, — это следует при полиции-с... хотя, впрочем, и теперь свидетелей слишком достаточно... Я готов-с... Но, во всяком

случае, затруднительно мужчине... по причине пола... Если бы с помощью Амалии Ивановны... хотя, впрочем, так дело не делается... Это как же-с?

— Кого хотите! Пусть кто хочет, тот и обыскивает! — кричала Катерина Ивановна. — Соня, вывори им карманы! Вот, вот! Смотри, изверг, вот, пустой, здесь платок лежал, карман пустой, видишь! Вот другой карман, вот, вот! Видишь! Видишь!

И Катерина Ивановна не то что вывернула, а так и выхватила оба кармана, один за другим наружу. Но из второго, правого, кармана вдруг выскочила бумажка и, описав в воздухе параболу, упала к ногам Лужина. Это все видели; многие вскрикнули. Петр Петрович нагнулся, взял бумажку двумя пальцами с пола, поднял на вид и развернул. Это был сторублевый кредитный билет, сложенный в восьмую долю. Петр Петрович обвел кругом свою руку, показывая всем билет.

— Воровка! Вон с квартир! Полис, полис! — завопила Амалия Ивановна, — их надо Сибирь прогнать! Вон!

Со всех сторон полетели восклицания. Раскольников молчал, не спуская глаз с Сони, изредка, но быстро переводя их на Лужина. Соня стояла на том же месте, как без памяти: она почти даже не была и удивлена. Вдруг краска залила ей все лицо; она вскрикнула и закрылась руками.

— Нет, это не я! Я не брала! Я не знаю! — закричала она разрывающим сердце воплем и бросилась к Катерине Ивановне. Та схватила ее и крепко прижала к себе, как будто грудью желая защитить ее ото всех.

— Соня! Соня! Я не верю! Видишь, я не верю! — кричала (несмотря на всю очевидность) Катерина Ивановна, сотрясая ее в руках своих, как ребенка, целуя ее бесчисленно, ловя ее руки и, так и впиваясь, целуя их. — Чтоб ты взяла! Да что это за глупые люди! О господи, глупые вы, глупые, — кричала она, обращаясь ко всем, — да вы еще не знаете, не знаете, какое это сердце, какая эта девушка! Она возьмет, она! Да она свое последнее платье скинет, продаст, босая пойдет, а вам отдаст, коль вам надо будет, вот она какая! Она и желтый-то билет получила, потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за нас продала!.. Ах, покойник, покойник! Ах, покойник, покойник! Видишь? Видишь? Вот тебе поминки! Господи! Да защитите же ее, что ж вы стоите все! Родион Романович! Вы-то чего ж не заступитесь? Вы тоже, что ль, верите? Мизинца вы ее не стоите, все, все, все, все! Господи! Да защити ж наконец!

Плач бедной, чахоточной, сиротливой Катерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько страдающего в этом искривленном болью, высохшем чахоточном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах, в этом хрипло кричащем голосе, в этом плаче навзрыд, подобном детскому плачу, в этой доверчивой, детской и вместе с тем отчаянной мольбе защитить, что, казалось, все пожалели несчастную. По крайней мере, Петр Петрович тотчас же пожалел.

— Сударыня! Сударыня! — восклицал он внушительным голосом, — до вас этот факт не касается! Никто не решится вас обвинить в умысле или в соглашении, тем паче что вы же и обнаружили, выворотив карман: стало быть, ничего не предполагали. Весьма и весьма готов сожалеть, если, так сказать, нищета подвигла и Софию Семеновну, но для чего же, мадемуазель, вы не хотели сознаться? Позора убоялись? Первый шаг? Потерялись, может быть? Дело понятное-с; очень понятное-с... Но, однако, для чего же было пускаться в такие качества! Господа! — обратился он ко всем присутствующим, — господа! Сожалея и, так сказать, соболезнуя, я, пожалуй, готов простить, даже теперь, несмотря на полученные личные оскорбления. Да послужит же, мадемуазель, теперешний стыд вам уроком на будущее, — обратился он к Соне, — а я дальнейшее оставляю втуне и, так и быть, прекращаю. Довольно!

Петр Петрович искоса посмотрел на Раскольникова. Взгляды их встретились. Горящий взгляд Раскольникова готов был испепелить его. Между тем Катерина Ивановна, казалось, ничего больше и не слыхала: она обнимала и целовала Соню, как безумная. Дети тоже обхватили со всех сторон Соню своими ручонками, а Полечка, — не совсем понимавшая,

впрочем, в чем дело, — казалось, вся так и утопла в слезах, надрываясь от рыданий и спрятав свое распухшее от плача хорошенькое личико на плече Сони.

— Как это низко! — раздался вдруг громкий голос в дверях.

Петр Петрович быстро оглянулся.

— Какая низость! — повторил Лебезятников, пристально смотря ему в глаза.

Петр Петрович даже как будто вздрогнул. Это заметили все. (Потом об этом вспоминали.) Лебезятников шагнул в комнату.

— И вы осмелились меня в свидетели поставить? — сказал он, подходя к Петру Петровичу.

— Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите? — пробормотал Лужин.

— То значит, что вы... клеветник, вот что значат мои слова! — горячо проговорил Лебезятников, строго смотря на него своими подслеповатыми глазками. Он был ужасно рассержен. Раскольников так и впился в него глазами, как бы подхватывая и взвешивая каждое слово. Опять снова воцарилось молчание. Петр Петрович почти даже потерялся, особенно в первое мгновение.

— Если это вы мне... — начал он, заикаясь, — да что с вами? В уме ли вы?

— Я-то в уме-с, а вот вы так... мошенник! Ах, как это низко! Я все слушал, я нарочно все ждал, чтобы все понять, потому что, признаюсь, даже до сих пор оно не совсем логично... Но для чего вы это сделали — не понимаю.

— Да что я сделал такое? Перестанете ли вы говорить вашими вздорными загадками? Или вы, может, выпивши?

— Это вы, низкий человек, может быть, пьете, а не я! Я и водки совсем никогда не пью, потому что это не в моих убеждениях! Вообразите, он, он сам, своими собственными руками отдал этот сторублевый билет Софье Семеновне, — я видел, я свидетель, я присягу приму! Он, он! — повторял Лебезятников, обращаясь ко всем и к каждому.

— Да вы рехнулись или нет, молокосос? — взвизгнул Лужин, — она здесь сама перед вами, налицо, — она сама здесь, сейчас, при всех подтвердила, что, кроме десяти рублей, ничего от меня не получала. Каким же образом мог я ей передать после этого?

— Я видел, видел! — кричал и подтверждал Лебезятников, — и хоть это против моих убеждений, но я готов сей же час принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули! Только я-то, дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули! В дверях, прощаясь с нею, когда она повернулась и когда вы ей жали одной рукой руку, другою, левой, вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел! Видел!

Лужин побледнел.

— Что вы врете! — дерзко вскричал он, — да и как вы могли, стоя у окна, разглядеть бумажку! Вам померещилось... на подслепые глаза. Вы бредите!

— Нет, не померещилось! И хоть я и далеко стоял, но я все, все видел, и хоть от окна действительно трудно разглядеть бумажку, — это вы правду говорите, — но я, по особому случаю, знал наверно, что это именно сторублевый билет, потому что, когда вы стали давать Софье Семеновне десятирублевую бумажку, — я видел сам, — вы тогда же взяли со стола сторублевый билет (это я видел, потому что я тогда близко стоял, и так как у меня тотчас явилась одна мысль, то потому я и не забыл, что у вас в руках билет). Вы его сложили и держали, зажав в руке, все время. Потом я было опять забыл, но когда вы стали вставать, то из правой переложили в левую и чуть не уронили; я тут опять вспомнил, потому что мне тут опять пришла та же мысль, именно, что вы хотите, тихонько от меня, благодеяние ей сделать. Можете представить, как я стал следить, — ну и увидел, как удалось вам всунуть ей в карман. Я видел, видел, я присягу приму!

Лебезятников чуть не задыхался. Со всех сторон стали раздаваться разнообразные восклицания, всего больше означавшие удивление; но слышались и восклицания, принимавшие и грозный тон. Все затеснилось к Петру Петровичу. Катерина Ивановна

кинулась к Лебезятникову.

— Андрей Семенович! Я в вас ошиблась! Защитите ее! Один вы за нее! Она сирота, вас Бог послал! Андрей Семенович, голубчик, батюшка!

И Катерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени.

— Дичь! — завопил взбешенный до ярости Лужин, — дичь вы все мелете, сударь. «Забыл, вспомнил, забыл» — что такое! Стало быть, я нарочно ей подложил? Для чего? С какой целью? Что общего у меня с этой...

— Для чего? Вот этого-то я и сам не понимаю, а что я рассказываю истинный факт, то это верно! Я до того не ошибаюсь, мерзкий, преступный вы человек, что именно помню, как по этому поводу мне тотчас же тогда в голову вопрос пришел, именно в то время, как я вас благодарил и руку вам жал. Для чего же именно вы положили ей украдкой в карман? То есть почему именно украдкой? Неужели потому только, что хотели от меня скрыть, зная, что я противных убеждений и отрицаю частную благотворительность, ничего не исцеляющую радикально? Ну и решил, что вам действительно передо мной совестно такие куши давать, и, кроме того, может быть, подумал я, он хочет ей сюрприз сделать, удивить ее, когда она найдет у себя в кармане целых сто рублей. (Потому что иные благотворители очень любят этак размазывать свои благодеяния; я знаю.) Потом мне тоже подумалось, что вы хотите ее испытать, то есть придет ли она, найдя, благодарить! Потом, что хотите избежать благодарности и чтоб, ну, как это там говорится: чтоб правая рука, что ль, не знала... одним словом, как-то этак... Ну, да мало ль мне мыслей тогда пришло в голову, так что я положил все это обдумать потом, но все-таки почел неделикатным обнаружить перед вами, что знаю секрет. Но, однако, мне тотчас же пришел в голову опять еще вопрос: что Софья Семеновна, прежде чем заметит, пожалуй, чего доброго, потеряет деньги; вот почему я решился пойти сюда, вызвать ее и уведомить, что ей положили в карман сто рублей. Да мимоходом зашел прежде в номер к господам Кобылятниковым, чтоб [занести им «Общий вывод положительного метода» и особенно рекомендовать статью Пидерита \(а впрочем, тоже и Вагнера\)](#); потом прихожу сюда, а тут вон какая история! Ну мог ли, мог ли я иметь все эти мысли и рассуждения, если б я действительно не видал, что вы вложили ей в карман сто рублей?

Когда Андрей Семенович кончил свои многословные рассуждения, с таким логическим выводом в заключение речи, то ужасно устал, и даже пот катился с его лица. Увы, он и по-русски-то не умел объясняться порядочно (не зная, впрочем, никакого другого языка), так что он весь, как-то разом, истощился, даже как будто похудел после своего адвокатского подвига. Тем не менее речь его произвела чрезвычайный эффект. Он говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, все верили. Петр Петрович почувствовал, что дело плохо.

— Какое мне дело, что вам в голову пришли там какие-то глупые вопросы, — вскричал он. — Это не доказательство-с! Вы могли все это сбредить во сне, вот и все-с! А я вам говорю, что вы лжете, сударь! Лжете и клеветеете из какого-либо зла на меня, и именно по [насердке](#) за то, что я не соглашался на ваши вольнодумные и безбожные социальные предложения, вот что-с!

Но этот выверт не принес пользы Петру Петровичу. Напротив, послышался со всех сторон ропот.

— А, ты вот куда заехал! — крикнул Лебезятников. — Врешь! Зови полицию, а я присягу приму! Одного только понять не могу: для чего он рискнул на такой низкий поступок! О жалкий, подлый человек!

— Я могу объяснить, для чего он рискнул на такой поступок, и, если надо, сам присягу приму! — твердым голосом произнес наконец Раскольников и выступил вперед.

Он был, по-видимому, тверд и спокоен. Всем как-то ясно стало, при одном только взгляде на него, что он действительно знает, в чем дело, и что дошло до развязки.

— Теперь я совершенно все себе уяснил, — продолжал Раскольников, обращаясь прямо к Лебезятникову. — С самого начала истории я уже стал подозревать, что тут

какой-то мерзкий подвох; я стал подозревать вследствие некоторых особых обстоятельств, только мне одному известных, которые я сейчас и объясню всем: в них все дело! Вы же, Андрей Семенович, вашим драгоценным показанием окончательно уяснили мне все. Прошу всех, всех прислушаться: этот господин (он указал на Лужина) сватался недавно к одной девице, и именно к моей сестре, Авдотье Романовне Раскольниковой. Но, приехав в Петербург, он третьего дня, при первом нашем свидании, со мной поссорился, и я выгнал его от себя, чему есть два свидетеля. Этот человек очень зол... Третьего дня я еще и не знал, что он здесь стоит в нумерах, у вас, Андрей Семенович, и что, стало быть, в тот же самый день, как мы поссорились, то есть третьего же дня, он был свидетелем того, как я передал, в качестве приятеля покойного господина Мармеладова, супруге его Катерине Ивановне несколько денег на похороны. Он тотчас же написал моей матери записку и уведомил ее, что я отдал все деньги не Катерине Ивановне, а Софье Семеновне, и при этом в самых подлых выражениях упомянул о... о характере Софьи Семеновны, то есть намекнул на характер отношений моих к Софье Семеновне. Все это, как вы понимаете, с целью поссорить меня с матерью и сестрой, внушив им, что я расточаю, с неблагородными целями, их последние деньги, которыми они мне помогают. Вчера вечером, при матери и сестре, и в его присутствии, я восстановил истину, доказав, что передал деньги Катерине Ивановне на похороны, а не Софье Семеновне, и что с Софьей Семеновной, третьего дня, я еще и знаком даже не был и даже в лицо еще ее не видал. При этом я прибавил, что он, Петр Петрович Лужин, со всеми своими достоинствами, не стоит одного мизинца Софьи Семеновны, о которой он так дурно отзывался. На его же вопрос: посадил ли бы я Софью Семеновну рядом с моей сестрой? я ответил, что я уже это и сделал, того же дня. Разозлившись на то, что мать и сестра не хотят, по его наветам, со мною рассориться, он слово за слово начал говорить им непростительные дерзости. Произошел окончательный разрыв, и его выгнали из дому. Все это происходило вчера вечером. Теперь прошу особенного внимания: представьте себе, что если бы ему удалось теперь доказать, что Софья Семеновна — воровка, то, во-первых, он доказал бы моей сестре и матери, что был почти прав в своих подозрениях; что он справедливо рассердился за то, что я поставил на одну доску мою сестру и Софью Семеновну; что, нападая на меня, он защищал, стало быть, и предохранял честь моей сестры, а своей невесты. Одним словом, через все это он даже мог вновь поссорить меня с родными и, уж конечно, надеялся опять войти у них в милость. Не говорю уже о том, что он мстил лично мне, потому что имеет основание предполагать, что честь и счастье Софьи Семеновны очень для меня дороги. Вот весь его расчет! Вот как я понимаю это дело! Вот вся причина, и другой быть не может!

Так или почти так окончил Раскольников свою речь, часто прерывавшуюся восклицаниями публики, слушавшей, впрочем, очень внимательно. Но, несмотря на все перерывы, он проговорил резко, спокойно, точно, ясно, твердо. Его резкий голос, его убежденный тон и строгое лицо произвели на всех чрезвычайный эффект.

— Так, так, это так! — в восторге подтверждал Лебезятников. — Это должно быть так, потому что он именно спрашивал меня, как только вошла к нам в комнату Софья Семеновна, «тут ли вы? Не видал ли я вас в числе гостей Катерины Ивановны?». Он отозвал меня для этого к окну и там потихоньку спросил. Стало быть, ему непременно надо было, чтобы были вы! Это так, это все так!

Лужин молчал и презрительно улыбался. Впрочем, он был очень бледен. Казалось, что он обдумывал, как бы ему вывернуться. Может быть, он бы с удовольствием бросил все и ушел, но в настоящую минуту это было почти невозможно; это значило прямо сознаться в справедливости взводимых на него обвинений и в том, что он действительно оклеветал Софью Семеновну. К тому же и публика, и без того уже подпившая, слишком волновалась. Провиантский, хотя, впрочем, и не все понимавший, кричал больше всех и предлагал некоторые весьма неприятные для Лужина меры. Но были и не пьяные; сошлись и собрались изо всех комнат. Все три полячка ужасно горячились и кричали ему

беспрестанно: «пане [лайдак!](#)», причем бормотали еще какие-то угрозы по-польски. Соня слушала с напряжением, но как будто тоже не все понимала, точно просыпалась от обморока. Она только не спускала своих глаз с Раскольниковца, чувствуя, что в нем вся ее защита. Катерина Ивановна трудно и хрипло дышала и была, казалось, в страшном изнеможении. Всех глупее стояла Амалия Ивановна, разинув рот и ровно ничего не смысля. Она только видела, что Петр Петрович как-то попался. Раскольников попросил было опять говорить, но ему уже не дали докончить: все кричали и теснились около Лужина с ругательствами и угрозами. Но Петр Петрович не струсил. Видя, что уже дело по обвинению Сони вполне проиграно, он прямо прибегнул к наглости.

— Позвольте, господа, позвольте; не теснитесь, дайте пройти! — говорил он, пробираясь сквозь толпу, — и сделайте одолжение, не угрожайте; уверяю вас, что ничего не будет, ничего не сделаете, не робкого десятка-с, а, напротив, вы же, господа, ответите, что насилием прикрыли уголовное дело. Воровка более нежели изобличена, и я буду преследовать-с. В суде не так слепы, и... не пьяны-с, и не поверят двум отъявленным безбожникам, возмутителям и вольнодумцам, обвиняющим меня, из личной мести, в чем сами они, по глупости своей, сознаются... Да-с, позвольте-с!

— Чтобы тотчас же духу вашего не было в моей комнате; извольте съезжать, и все между нами кончено! И как подумаю, что я же из кожи выбивался, ему излагал... целые две недели!..

— Да ведь я вам и сам, Андрей Семенович, давеча сказал, что съезжаю, когда вы еще меня удерживали; теперь же прибавлю только, что вы дурак-с. Желаю вам вылечить ваш ум и ваши подслепые глаза. Позвольте же, господа-с!

Он протеснился; но провиантскому не хотелось так легко его выпустить, с одними только ругательствами; он схватил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича; но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну. Она взвизгнула, а провиантский, потеряв от размаху равновесие, тяжело повалился под стол. Петр Петрович прошел в свою комнату, и через полчаса его уже не было в доме. Соня, робкая от природы, и прежде знала, что ее легче погубить, чем кого бы то ни было, а уж обидеть ее всякий мог почти безнаказанно. Но все-таки, до самой этой минуты, ей казалось, что можно как-нибудь избежать беды — осторожностью, кротостью, покорностью перед всем и каждым. Разочарование ее было слишком тяжело. Она, конечно, с терпением и почти безропотно могла все перенести — даже это. Но в первую минуту уж слишком тяжело стало. Несмотря на свое торжество и на свое оправдание, — когда прошел первый испуг и первый столбняк, когда она поняла и сообразила все ясно, — чувство беспомощности и обиды мучительно стеснило ей сердце. С ней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты и побежала домой. Это было почти сейчас по уходе Лужина. Амалия Ивановна, когда в нее, при громком смехе присутствовавших, попал стакан, тоже не выдержала в чужом пиру похмелья. С визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватою:

— Долой с квартир! Сейчас! Марш! — И с этими словами начала хватать все, что ни попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны, и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задышавшаяся, бледная, Катерина Ивановна вскочила с постели (на которую упала было в изнеможении) и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком неравна; та отпихнула ее, как перышко.

— Как! Мало того, что безбожно оклеветали, — эта тварь на меня же! Как! В день похорон мужа гонят с квартиры после моего хлеба-соли, на улицу, с сиротами! Да куда я пойду! — вопила, рыдая и задыхаясь, бедная женщина. — Господи! — закричала вдруг она, засверкав глазами, — неужели ж нет справедливости! Кого ж тебе защищать, коль не нас, сирот? А вот увидим! Есть на свете суд и правда, есть, я сыщу! Сейчас, подожди, безбожная тварь! Полечка, оставайся с детьми, я ворочусь. Ждите меня, хоть на улице! Увидим, есть ли на свете правда?

И, накинув на голову тот самый зеленый драдедамовый платок, о котором упоминал в

своем рассказе покойный Мармеладов, Катерина Ивановна протеснилась сквозь беспорядочную и пьяную толпу жильцов, все еще толпившихся в комнате, и с воплем и со слезами выбежала на улицу — с неопределенною целью где-то сейчас, немедленно и во что бы то ни стало найти справедливость. Полечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук, где, обняв обоих маленьких, вся дрожа, стала ожидать прихода матери. Амалия Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что ни попадалось ей, на пол и буянила. Жильцы горланили кто в лес, кто по дрова — иные договаривали, что умели, о случившемся событии; другие ссорились и ругались; иные затянули песни...

«А теперь пора и мне! — подумал Раскольников. — Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить!»

И он отправился на квартиру Сони.

IV

Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней: он *должен* был объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны: «Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?», то, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно; он только *почувствовал* это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его.

— Что бы со мной без вас-то было! — быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала.

Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь как вчера.

— Что, Соня? — сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит, — ведь все дело-то упиралось на «общественное положение и сопричастные тому привычки». Поняли вы давеча это?

Страдание выразилось в лице ее.

— Только не говорите со мной, как вчера! — прервала она его. — Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно...

Она поскорей улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек.

— Я сглупа-то оттудова ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да все думала, что вот... вы зайдете.

Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то «правды искать».

— Ах, боже мой! — вскинулась Соня, — пойдемте поскорее...

И она схватила свою мантильку.

— Вечно одно и то же! — вскричал раздражительно Раскольников. — У вас только и в

мыслях, что они! Побудьте со мной.

— А... Катерина Ивановна?

— А Катерина Ивановна, уж конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому, — брюзгливо прибавил он. — Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты...

Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая.

— Положим, Лужин теперь не захотел, — начал он, не взглядывая на Соню. — Ну а если б он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А?

— Да, — сказала она слабым голосом, — да! — повторила она, рассеянно и в тревоге.

— А ведь я и действительно мог не случиться! А Лебезятников, тот уж совсем случайно подвернулся.

Соня молчала.

— Ну а если б в острог, что тогда? Помните, что я вчера говорил?

Она опять не ответила. Тот переждал.

— А я думал, вы опять закричите: «Ах, не говорите, перестаньте!» — засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. — Что ж, опять молчание? — спросил он через минуту. — Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать? Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один «вопрос», как говорит Лебезятников. (Он как будто начинал путаться.) Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы (то есть наверно), что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, в придачу (так как вы себя ни за что считаете, так *в придачу*). Полечка также... потому ей та же дорога. Ну-с; так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости или умирать Катерине Ивановне? то как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю.

Соня с беспокойством на него посмотрела: ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издалека подходящей речи.

— Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, — сказала она, пытливо смотря на него.

— Хорошо; пусть; но, однако, как же бы решить-то?

— Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? — с отвращением сказала Соня.

— Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости? Вы и этого решить не осмелились?

— Да ведь я Божьего промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтобы это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?

— Уж как Божий промысел замешается, так уж тут ничего не поделаешь, — угрюмо проворчал Раскольников.

— Говорите лучше прямо, чего вам надобно! — вскричала с страданием Соня, — вы опять на что-то наводите... Неужели вы только за тем, чтобы мучить, пришли!

Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. Прошло минут пять.

— А ведь ты права, Соня, — тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился; выделанно-нахальный и бессильно-вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. — Сам же я тебе сказал вчера, что не прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу... Это я про Лужина и промысел для себя говорил... Я это прощения просил, Соня...

Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо.

И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло

по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое. Это только значило, что *та* минута пришла.

Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель.

Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя было терять более».

— Что с вами? — спросила Соня, ужасно оробевшая.

Он ничего не мог выговорить. Он совсем, совсем не так предполагал *объявить* и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо: он обернул к ней мертво-бледное лицо свое; губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони.

— Что с вами? — повторила она, слегка от него отстраняясь.

— Ничего, Соня. Не пугайся... Вздор! Право, если рассудить, — вздор, — бормотал он с видом себя не помнящего человека в бреду. — Зачем только тебя-то я пришел мучить? — прибавил он вдруг, смотря на нее. — Право. Зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня...

Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая непрерывную дрожь во всем своем теле.

— Ох, как вы мучаетесь! — с страданием произнесла она, вглядываясь в него.

— Все вздор!.. Вот что, Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), — помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?

Соня беспокойно ждала.

— Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе... кто убил Лизавету.

Она вдруг задрожала всем телом.

— Ну, так вот я и пришел сказать.

— Так вы это в самом деле вчера... — с трудом прошептала она, — почему ж вы знаете? — быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись.

Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось все бледнее и бледнее.

— Знаю.

Она помолчала с минуту.

— Нашли, что ли, *его*? — робко спросила она.

— Нет, не нашли.

— Так как же вы про *это* знаете? — опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания.

Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.

— Угадай, — проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.

Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.

— Да вы... меня... что же вы меня так... пугаете? — проговорила она, улыбаясь, как ребенок.

— Стало быть, я с *ним* приятель большой... коли знаю, — продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз, — он Лизавету эту... убить не хотел... Он ее... убил нечаянно... Он старуху убить хотел... когда она была одна... и пришел... А тут вошла Лизавета... Он тут... и ее убил.

Прошла еще ужасная минута. Оба всё глядели друг на друга.

— Так не можешь угадать-то? — спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.

— Н-нет, — чуть слышно прошептала Соня.

— Погляди-ка хорошенько.

И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же *детскою* улыбкой.

— Угадала? — прошептал он наконец.

— Господи! — вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки. Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним, отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было; сомнения не оставалось никакого; все было *так*! Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно и чудно: почему именно она так, *сразу* увидела тогда, что нет уже никаких сомнений? Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала? А между тем теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто *это* самое предчувствовала.

— Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! — страдальчески попросил он.

Он совсем, совсем не так думал открыть ей, но вышло *так*.

Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до середины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.

— Что вы, что вы это над собой сделали! — отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.

Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на нее:

— Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.

— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! — воскликнула она, как в иступлении, не слышав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.

Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.

— Так не оставишь меня, Соня? — говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее.

— Нет, нет; никогда и нигде! — вскрикнула Соня, — за тобой пойду, всюду пойду! О господи!.. Ох я несчастная!.. И зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не приходил? О господи!

— Вот и пришел.

— Теперь-то! О, что теперь делать!.. Вместе, вместе! — повторяла она как бы в забытии и вновь обнимала его, — в каторгу с тобой вместе пойду! — Его как бы вдруг передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его.

— Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти, — сказал он.

Соня быстро на него посмотрела.

После первого, страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании. И опять она не поверила: «Он, он убийца! Да разве это возможно?»

— Да что это! Да где это я стою! — проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя, — да как вы, вы, *такой*... могли на это решиться? Да что это!

— Ну да, чтоб ограбить. Перестань, Соня! — как-то устало и даже как бы с досадой ответил он.

Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала:

— Ты был голоден! ты... чтобы матери помочь? Да?

— Нет, Соня, нет — бормотал он, отвернувшись и свесив голову, — не был я так голоден... я действительно хотел помочь матери, но... и это не совсем верно... не мучь меня, Соня!

Соня всплеснула руками.

— Да неужель, неужель это все взаправду! Господи, да какая ж это правда! Кто же этому может верить?.. И как же, как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтоб ограбить! А!.. — вскрикнула она вдруг, — те деньги, что Катерине Ивановне отдали... те деньги... Господи, да неужели ж и те деньги...

— Нет, Соня, — торопливо прервал он, — эти деньги были не те, успокойся! Эти деньги мне мать прислала, через одного купца, и получил я их больной, в тот же день как и отдал... Разумихин видел... он же и получал за меня... эти деньги мои, мои собственные, настоящие мои.

Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить.

— А *те* деньги... я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, — прибавил он тихо и как бы в раздумье, — я снял у ней тогда кошелек с шеи, замшевый... полный, тугой такой кошелек... да я не посмотрел в него; не успел, должно быть... Ну, а вещи, какие-то все запонки да цепочки, — я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе, на В—м проспекте под камень схоронил, на другое же утро... Все там и теперь лежит...

Соня из всех сил слушала.

— Ну, так зачем же... как же вы сказали: чтоб ограбить, а сами ничего не взяли? — быстро спросила она, хватаясь за соломинку.

— Не знаю... я еще не решил — возьму или не возьму эти деньги, — промолвил он, опять как бы в раздумье, и вдруг, опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. — Эх, какую я глупость сейчас сморозил, а?

У Сони промелькнула мысль: «Не сумасшедший ли?» Но тотчас же она ее оставила: нет, тут другое. Ничего, ничего она тут не понимала!

— Знаешь, Соня, — сказал он вдруг с каким-то вдохновением, — знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, — продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, — то я бы теперь... счастлив был! Знай ты это!

— И что тебе, что тебе в том, — вскричал он через мгновение с каким-то даже отчаянием, — ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!

Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала.

— Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась.

— Куда звал? — робко спросила Соня.

— Не воровать и не убивать, не беспокойся, не за этим, — усмехнулся он едко, — мы люди разные... И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял: куда тебя звал вчера? А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?

Она стиснула ему руку.

— И зачем, зачем я ей сказал, зачем я ей открыл! — в отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее, — вот ты ждешь от меня объяснений, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только исстрадаешься вся... из-за меня! Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь, — ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить: «страдай и ты, мне легче будет!». И можешь ты любить такого подлеца?

— Да разве ты тоже не мучаешься? — вскричала Соня.

Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягло ее.

— Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и... подлец! Но... пусть! все это не то... Говорить теперь надо, а я начать не умею...

Он остановился и задумался.

— Э-эх, люди мы розны! — вскричал он опять, — не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прощу себе этого!

— Нет, нет, это хорошо, что пришел! — восклицала Соня, — это лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше!

Он с болью посмотрел на нее.

— А что и в самом деле! — сказал он, как бы надумавшись, — ведь это ж так и было! Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... Ну, понятно теперь?

— Н-нет, — наивно и робко прошептала Соня, — только... говори, говори! Я пойму, я *про себя* все пойму! — упрашивала она его.

— Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим!

Он замолчал и долго обдумывал.

— Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, [легистраторша](#), которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоровился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально, и... и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я, наконец, догадался (вдруг как-то), что не только его не покоровило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... и даже не понял бы он совсем: чего тут коровиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости... Ну и я... вышел из задумчивости... задушил... по примеру авторитета... И это точь-в-точь так и было! Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было.

Соне вовсе не было смешно.

— Вы лучше говорите мне прямо... без примеров, — еще робче и чуть слышно попросила она.

Он повернулся к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки.

— Ты опять права, Соня. Это все ведь вздор, почти одна болтовня! Видишь: ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание случайно и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячько рублями жалованья... (Он говорил как будто заученное.) А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенести? Для чего? Для того ль, чтоб, их схоронив, новых нажить — жену

да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну... ну, вот я решил, завладев старухиними деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, — и сделать все это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать... Ну... ну, вот и все... Ну, разумеется, что я убил старуху, — это я худо сделал... ну и довольно!

В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой.

— Ох, это не то, не то, — в тоске восклицала Соня, — и разве можно так... нет, это не так, не так!

— Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал правду!

— Да какая ж это правда! О господи!

— Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.

— Это человек-то вошь!

— Да ведь и я знаю, что не вошь, — ответил он, странно смотря на нее. — А впрочем, я вру, Соня, — прибавил он, — давно уже вру... Это все не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!.. Я давно ни с кем не говорил, Соня... Голова у меня теперь очень болит.

Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах... Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но... «но как же! Как же! О господи!» И она ломала руки в отчаянии.

— Нет, Соня, это не то! — начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, — это не то! А лучше... предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну... и, пожалуй, еще склонен к сумасшествию. (Уж пусть все зараз! Про сумасшествие-то говорили прежде, я заметил!) Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили: по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно *озлился* (это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья — поем, не принесет — так и день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродал; а на столе у меня, на записках, да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал... И все такие у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить какие! Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что... Нет, это не так! Я опять не так рассказываю! Видишь, я тогда все себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон... Закон, Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!

Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более: поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. (Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил!) Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом.

— Я догадался тогда, Соня, — продолжал он восторженно, — что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто все за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел *осмелиться* и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!

— О, молчите, молчите! — вскрикнула Соня, всплеснув руками. — От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..

— Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?

— Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!

— Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи! — повторил он мрачно и настойчиво. — Я все знаю. Все это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте... Все это я сам с собой переспорил, до последней малейшей черты, и все знаю, все! И так надоела, так надоела мне тогда вся эта болтовня! Я все хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать! И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужели ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть иметь? — то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? — то, стало быть, уж не вошь человек *для меня*, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет... Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил: для себя убил, для себя одного; а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Я это все теперь знаю... Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать, тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или *право* имею...

— Убивать? Убивать-то право имеете? — всплеснула руками Соня.

— Э-эх, Соня! — вскрикнул он раздражительно, хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. — Не прерывай меня, Соня! Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь! Принимай гостя! Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай: когда я тогда к старухе ходил, я только *попробовать* сходил... Так и знай!

— И убили! Убили!

— Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел... Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я... Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, — вскричал он вдруг в судорожной тоске, — оставь меня!

Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.

— Экое страдание! — вырвался мучительный вопль у Сони.

— Ну, что теперь делать, говори! — спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.

— Что делать! — воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. — Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении.) Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда Бог опять тебе жизнь пошлет. Пойдешь? Пойдешь? — спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огненным взглядом.

Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.

— Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? — спросил он мрачно.

— Страдание принять и искупить себя им, вот что надо.

— Нет, не пойду я к ним, Соня.

— А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? — восклицала Соня. — Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О господи! — вскрикнула она, — ведь он уже это все знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!

— Не будь ребенком, Соня, — тихо проговорил он. — В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Все это один только призрак... Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? — прибавил он с едкою усмешкой. — Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не будь ребенком, Соня...

— Замучаешься, замучаешься, — повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки.

— Я, может, на себя *еще* наклепал, — мрачно заметил он, как бы в задумчивости, — может, я *еще* человек, а не вошь, и поторопился себя осудить... Я *еще* поборюсь.

Надменная усмешка выдавливалась на губах его.

— Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!..

— Привыкну... — проговорил он угрюмо и вдумчиво. — Слушай, — начал он через минуту, — полно плакать, пора о деле: я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят...

— Ах! — вскрикнула Соня испуганно.

— Ну, что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что: я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб; сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах, то есть их обвинения я в свою же пользу могу обратить, понимаешь? и обращаю; потому теперь я научился... Но в острог меня посадят наверно. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили, наверно даже, может, *еще* и посадят сегодня... Только это ничего, Соня: посижу, да и выпустят... потому нет у них ни одного настоящего доказательства, и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Ну, довольно... Я только чтобы ты знала... С сестрой и с матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтоб их разуверить и не испугать... Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена... стало быть, и мать... Ну, вот и все. Будь, впрочем, осторожна. Будешь ко мне в острог ходить, когда я буду сидеть?

— О, буду! Буду!

Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и

ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде.

— Соня, — сказал он, — уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть.

Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут.

— Есть на тебе крест? — вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила.

Он сначала не понял вопроса.

— Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми... ведь мой! Ведь мой! — упрашивала она. — Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!..

— Дай! — сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.

— Не теперь, Соня. Лучше потом, — прибавил он, чтоб ее успокоить.

— Да, да, лучше, лучше, — подхватила она с увлечением, — как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.

В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.

— Софья Семеновна, можно к вам? — послышался чей-то очень знакомый вежливый голос.

Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия г-на Лебезятникова заглянула в комнату.

V

Лебезятников имел вид встревоженный.

— Я к вам, Софья Семеновна. Извините... Я так и думал, что вас застану, — обратился он вдруг к Раскольникову, — то есть я ничего не думал... в этом роде... но я именно думал... Там у нас Катерина Ивановна с ума сошла, — отрезал он вдруг Соне, бросив Раскольникова.

Соня вскрикнула.

— То есть оно, по крайней мере, так кажется. Впрочем... Мы там не знаем, что и делать, вот что-с! Воротилась она — ее откуда-то, кажется, выгнали, может, и прибили... по крайней мере, так кажется... Она бегала к начальнику Семена Захарыча, дома не застала; он обедал у какого-то тоже генерала... Вообразите, она махнула туда, где обедали... к этому другому генералу, и, вообразите, — таки настояла, вызвала начальника Семена Захарыча, да, кажется, еще из-за стола. Можете представить, что там вышло. Ее, разумеется, выгнали; а она рассказывает, что она сама его обругала и чем-то в него пустила. Это можно даже предположить... как ее не взяли — не понимаю! Теперь она всем рассказывает, и Амалии Ивановне, только трудно понять, кричит и бьется... Ах да: она говорит и кричит, что так как ее все теперь бросили, то она возьмет детей и пойдет на улицу, шарманку носить, а дети будут петь и плясать, и она тоже, и деньги собирать, и каждый день под окно к генералу ходить... «Пусть, говорит, видят, как благородные дети чиновного отца по улицам нищими ходят!» Детей всех бьет, те плачут. Леню учит петь «Хуторок», мальчика плясать, Полину Михайловну тоже, рвет все платья; делает им какие-то шапочки, как актерам; сама хочет таз нести, чтобы колотить, вместо музыки... Ничего не слушает... Вообразите, как же это? Это уж просто нельзя!

Лебезятников продолжал бы и еще, но Соня, слушавшая его едва переводя дыхание, вдруг схватила мантильку, шляпку и выбежала из комнаты, одеваясь на бегу. Раскольников вышел вслед за нею, Лебезятников за ним.

— Непременно помешалась! — говорил он Раскольникову, выходя с ним на улицу, — я только не хотел пугать Софью Семеновну и сказал: «кажется», но и сомнения нет. Это,

говорят, такие бугорки, в чахотке, на мозгу вскакивают; жаль, что я медицины не знаю. Я, впрочем, пробовал ее убедить, но она ничего не слушает.

— Вы ей о бугорках говорили?

— То есть не совсем о бугорках. Притом она ничего бы и не поняла. Но я про то говорю: если убедить человека логически, что, в сущности, ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать. Это ясно. А ваше убеждение, что не перестанет?

— Слишком легко тогда было бы жить, — ответил Раскольников.

— Позвольте, позвольте; конечно, Катерине Ивановне довольно трудно понять; но известно ли вам, что в Париже уже происходили серьезные опыты относительно возможности излечивать сумасшедших, действуя одним только логическим убеждением? Один там профессор, недавно умерший, ученый серьезный, вообразил, что так можно лечить. Основная идея его, что особенного расстройства в организме у сумасшедших нет, а что сумасшествие есть, так сказать, логическая ошибка, ошибка в суждении, неправильный взгляд на вещи. Он постепенно опровергал больного и, представьте себе, достигал, говорят, результатов! Но так как при этом он употреблял и души, то результаты этого лечения подвергаются, конечно, сомнению... По крайней мере, так кажется...

Раскольников давно уже не слушал. Поравнявшись с своим домом, он кивнул головой Лебезятникову и повернул в подворотню. Лебезятников очнулся, огляделся и побежал далее.

Раскольников вошел в свою каморку и стал посреди ее. «Для чего он воротился сюда?» Он оглядел эти желтоватые обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку... Со двора доносился какой-то резкий, непрерывный стук; что-то где-то как будто вколачивали, гвоздь какой-нибудь... Он подошел к окну, поднялся на цыпочки и долго, с видом чрезвычайного внимания высматривал во дворе. Но двор был пуст и не было видно стучавших. Налево, во флигеле, виднелись кой-где отворенные окна; на подоконниках стояли горшочки с жиденькой геранью. За окнами было вывешено белье. Все это он знал наизусть. Он отвернулся и сел на диван.

Никогда, никогда еще не чувствовал он себя так ужасно одиноким!

Да, он почувствовал еще раз, что, может быть, действительно возненавидит Соню, и именно теперь, когда сделал ее несчастнее. «Зачем ходил он к ней просить ее слез? Зачем ему так необходимо заедать ее жизнь? О, подлость!»

— Я останусь один! — проговорил он вдруг решительно, — и не будет она ходить в острог!

Минут через пять он поднял голову и странно улыбнулся. Это была странная мысль. «Может, в каторге-то действительно лучше», — подумалось ему вдруг.

Он не помнил, сколько он просидел у себя, с толпившимися в голове его неопределенными мыслями. Вдруг дверь отворилась, и вошла Авдотья Романовна. Она сперва остановилась и посмотрела на него с порога, как давеча он на Соню; потом уже прошла и села против него на стул, на вчерашнем своем месте. Он молча и как-то без мысли посмотрел на нее.

— Не сердись, брат, я только на одну минуту, — сказала Дуня. Выражение лица ее было задумчивое, но не суровое. Взгляд был ясный и тихий. Он видел, что и эта с любовью пришла к нему.

— Брат, я теперь знаю все, *все*. Мне Дмитрий Прокофьич все объяснил и рассказал. Тебя преследуют и мучают по глупому и гнусному подозрению... Дмитрий Прокофьич сказал мне, что никакой нет опасности и что напрасно ты с таким ужасом это принимаешь. Я не так думаю и *вполне понимаю*, как возмущено в тебе все и что это негодование может оставить следы навеки. Этого я боюсь. За то, что ты нас бросил, я тебя не сужу и не смею судить, и прости меня, что я попрекнула тебя прежде. Я сама на себе чувствую, что если б у меня было такое великое горе, то я бы тоже ушла от всех. Матери я *про это* ничего не расскажу, но буду говорить о тебе непрерывно и скажу от твоего имени, что ты придешь очень скоро. Не мучайся о ней; я ее успокою; но и ты ее не

замучай, — приди хоть раз; вспомни, что она мать! А теперь я пришла только сказать (Дуня стала подыматься с места), что если, на случай, я тебе в чем понадобится или понадобится тебе... вся моя жизнь или что... то кликни меня, я приду. Прощай!

Она круто повернула и пошла к двери.

— Дуня! — остановил ее Раскольников, встал и подошел к ней, — этот Разумихин, Дмитрий Прокофьевич, очень хороший человек.

Дуня чуть-чуть покраснела.

— Ну! — спросила она, подождав с минуту.

— Он человек деловой, трудолюбивый, честный и способный сильно любить...

Прощай, Дуня.

Дуня вся вспыхнула, потом вдруг встревожилась:

— Да что это, брат, разве мы в самом деле навеки расстаемся, что ты мне... такие завешания делаешь?

— Все равно... прощай...

Он отворотился и пошел от нее к окну. Она постояла, посмотрела на него беспокойно и вышла в тревоге.

Нет, он не был холоден к ней. Было одно мгновение (самое последнее), когда ему ужасно захотелось крепко обнять ее и *проститься* с ней, и даже *сказать*, но он даже и руки ей не решился подать:

«Потом еще, пожалуй, содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, скажет, что я украл ее поцелуй!»

«А выдержит эта или не выдержит? — прибавил он через несколько минут про себя. — Нет, не выдержит; *этаким* не выдержать! Этакие никогда не выдерживают...»

И он подумал о Соне.

Из окна повеяло свежестью. На дворе уже не так ярко светил свет. Он вдруг взял фуражку и вышел.

Он, конечно, не мог, да и не хотел заботиться о своем болезненном состоянии. Но вся эта непрерывная тревога и весь этот ужас душевный не могли пройти без последствий. И если он не лежал еще в настоящей горячке, то, может быть, именно потому, что эта внутренняя непрерывная тревога еще поддерживала его на ногах и в сознании, но как-то искусственно, до времени.

Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая-то особенная тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства». В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильнее начинало его мучить.

— Вот с такими-то глупейшими, чисто физическими немощами, зависящими от какого-нибудь заката солнца, и удержишься сделать глупость. Не то что к Соне, а к Дуне пойдешь! — пробормотал он ненавистно.

Его окликнули. Он оглянулся; к нему бросился Лебезятников.

— Вообразите, я был у вас, ищу вас. Вообразите, она исполнила свое намерение и детей увела! Мы с Софьей Семеновной насилиу их отыскивали. Сама бьет в сковороду, детей заставляет плясать. Дети плачут. Останавливаются на перекрестках и у лавочек. За ними глупый народ бежит. Пойдемте.

— А Соня?.. — тревожно спросил Раскольников, поспешая за Лебезятниковым.

— Просто в иступлении. То есть не Софья Семеновна в иступлении, а Катерина Ивановна; а впрочем, и Софья Семеновна в иступлении. А Катерина Ивановна совсем в иступлении. Говорю вам, окончательно помешалась. Их в полицию возьмут. Можете представить, как это подействует... Они теперь на канаве у —ского моста, очень недалеко от Софьи Семеновны. Близко.

На канаве, не очень далеко от моста и не доходя двух домов от дома, где жила Соня, столпилась кучка народу. Особенно сбегались мальчишки и девчонки. Хриплый,

надорванный голос Катерины Ивановны слышался еще от моста. И действительно, это было странное зрелище, способное заинтересовать уличную публику. Катерина Ивановна, в своем стареньком платье, в драдедамовой шали и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком на сторону, была действительно в настоящем исступлении. Она устала и задыхалась. Измучившееся чахоточное лицо ее смотрело страдальнее, чем когда-нибудь (к тому же на улице, на солнце, чахоточный всегда кажется больнее и обезображеннее, чем дома); но возбужденное состояние ее не прекращалось, и она с каждой минутой становилась еще раздраженнее. Она бросалась к детям, кричала на них, уговаривала, учила их тут же при народе, как плясать и что петь, начинала им растолковывать, для чего это нужно, приходила в отчаяние от их непонятливости, била их... Потом, не dokonчив, бросалась к публике; если замечала чуть-чуть хорошо одетого человека, остановившегося поглядеть, то тотчас пускалась объяснять ему, что вот, дескать, до чего доведены дети «из благородного, можно даже сказать аристократического дома». Если слышала в толпе смех или какое-нибудь задирательное словцо, то тотчас же набрасывалась на дерзких и начинала с ними браниться. Иные действительно смеялись, другие качали головами; всем вообще было любопытно поглядеть на помешанную с перепуганными детьми. Сковороды, про которую говорил Лебезятников, не было; по крайней мере Раскольников не видал; но вместо стука в сковороду Катерина Ивановна начинала хлопать в такт своими сухими ладонями, когда заставляла Полечку петь, а Леню и Колю плясать; причем даже и сама пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась на второй ноте от мучительного кашля, отчего снова приходила в отчаяние, проклинала свой кашель и даже плакала. Пуще всего выводили ее из себя плач и страх Коли и Лени. Действительно, была попытка нарядить детей в костюм, как наряжаются уличные певцы и певицы. На мальчике была надета из чего-то красного с белым чалма, чтобы он изображал собою турку. На Леню костюмов не достало; была только надета на голову красная вязанная из [гаруса](#) шапочка (или, лучше сказать, колпак) покойного Семена Захарыча, а в шапку воткнут обломок белого страусового пера, принадлежавшего еще бабушке Катерины Ивановны и сохранявшегося доселе в сундуке в виде фамильной редкости. Полечка была в своем обыкновенном платье. Она смотрела на мать робко и потерявшись, не отходила от нее, скрадывала свои слезы, догадывалась о помешательстве матери и беспокойно осматривалась кругом. Улица и толпа ужасно напугали ее. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима.

— Перестань, Соня, перестань! — кричала она скороговоркой, спеша, задыхаясь и кашляя. — Сама не знаешь, чего просишь, точно дитя! Я уже сказала тебе, что не ворочусь назад к этой пьяной немке. Пусть видят все, весь Петербург, как милостыни просят дети благородного отца, который всю жизнь служил верою и правдой и, можно сказать, умер на службе. (Катерина Ивановна уже успела создать себе эту фантазию и поверить ей слепо.) Пускай, пускай этот негодный генералишка видит. Да и глупа ты, Соня: что теперь есть-то, скажи? Довольно мы тебя истерзали, не хочу больше! Ах, Родион Романыч, это вы! — вскрикнула она, увидав Раскольникова и бросаясь к нему, — растолкуйте вы, пожалуйста, этой дурочке, что ничего умней нельзя сделать! Даже шарманщики добывают, а нас тотчас все отличат, узнают, что мы бедное благородное семейство сирот, доведенных до нищеты, а уж этот генералишка место потеряет, увидите! Мы каждый день под окна к нему будем ходить, а проедет государь, я стану на колени, этих всех выставлю вперед и покажу на них: «Защити, отец!» Он отец сирот, он милосерд, защитит, увидите, а генералишку этого... Леня! tenez-vous droite!⁴ Ты, Коля, сейчас будешь опять танцевать. Чего ты хнычешь? Опять хнычет! Ну чего, чего ты боишься, дурачок! Господи! что мне с ним делать, Родион Романыч! Если б вы знали, какие они бестолковые! Ну что с такими сделаешь!..

И она, сама чуть не плача (что не мешало ее непрерывной и неумолчной скороговорке), показывала ему на хнычущих детей. Раскольников попробовал было

убедить ее воротиться и даже сказал, думая подействовать на самолюбие, что ей неприлично ходить по улицам, как шарманщики ходят, потому что она готовит себя в директрисы благородного пансиона девиц...

— Пансиона, ха-ха-ха! Славны бубны за горами! — вскричала Катерина Ивановна, тотчас после смеху закатившись кашлем, — нет, Родион Романович, прошла мечта! Все нас бросили!.. А этот генералишка... Знаете, Родион Романыч, я в него чернильницей пустила, — тут, в лакейской, кстати на столе стояла, подле листа, на котором расписывались, и я расписалась, пустила да и убежала. О, подлые, подлые. Да наплевать; теперь и этих сама кормить буду, никому не поклонюсь! Довольно мы ее мучили! (Она указала на Соню.) Полечка, сколько собрали, покажи? Как? Всего только две копейки? О, гнусные! Ничего не дают, только бегают за нами высунув язык! Ну, чего этот болван смеется? (указала она на одного из толпы.) Это все потому, что этот Колька такой непонятливый, с ним возня! Чего тебе, Полечка? Говори со мной по-французски, *parlez moi français*⁵. Ведь я же тебя учила, ведь ты знаешь несколько фраз!.. Иначе как отличить, что вы благородного семейства, воспитанные дети и вовсе не так, как все шарманщики; не «Петрушку» же мы какого-нибудь представляем на улицах, а споем благородный романс... Ах да! что же нам петь-то! Перебиваете вы всё меня, а мы... видите ли, мы здесь остановились, Родион Романыч, чтобы выбрать, что петь, — такое, чтоб и Коле можно было протанцевать... потому все это у нас, можете представить, без приготовления: надо сговориться, так чтобы всё совершенно прорепетировать, а потом мы отправимся на Невский, где гораздо больше людей высшего общества и нас тотчас заметят: Леня знает «Хуторок»... Только всё «Хуторок» да «Хуторок», и все-то его поют! Мы должны спеть что-нибудь гораздо более благородное... Ну, что ты придумала, Поля, хоть бы ты матери помогла! Памяти, памяти у меня нет, я бы вспомнила! Не «Гусара же на саблю опираясь» петь в самом деле! Ах, споемте по-французски «Cinq sous»! Я ведь вас учила же, учила же. И главное, так как это по-французски, то увидят тотчас, что вы дворянские дети, и это будет гораздо трогательнее... Можно было даже: «Malborough s'en va-t-en guerre», так как это совершенно детская песенка и употребляется во всех аристократических домах, когда убаюкивают детей.

Malborough s'en va-t-en guerre,
Ne sait quand reviendra...⁶

начала было она петь... — Но нет, лучше уж «Cinq sous»! Ну, Коля, ручки в боки, поскорей, а ты, Леня, тоже вертись в противоположную сторону, а мы с Полечкой будем подпевать и подхлопывать!

Cinq sous, cinq sous...
Pour monter notre menage...⁷

Кхи-кхи-кхи! (И она закатилась от кашля.) Поправь платице, Полечка, плечики спустились, — заметила она сквозь кашель, отдыхаясь. — Теперь вам особенно нужно держать себя прилично и на тонкой ноге, чтобы все видели, что вы дворянские дети. Я говорила тогда, что лифчик надо длиннее кроить и притом в два полотнища. Это ты тогда, Соня, с своими советами: «Короче да короче», вот и вышло, что совсем ребенка обезобразили... Ну, опять все вы плачете! Да чего вы, глупые! Ну, Коля, начинай поскорей, поскорей, поскорей, — ох, какой это несносный ребенок!..

Cinq sous, cinq sous...

Опять солдат! Ну, чего тебе надобно?

Действительно, сквозь толпу протеснялся городской. Но в то же время один господин в вицмундире и в шинели, солидный чиновник лет пятидесяти, с орденом на шее (последнее было очень приятно Екатерине Ивановне и повлияло на городского), приблизился и молча подал Екатерине Ивановне трехрублевую зелененькую кредитку. В лице его выражалось искреннее сострадание. Катерина Ивановна приняла и вежливо, даже церемонно, ему поклонилась.

— Благодарю вас, милостивый государь, — начала она свысока, — причины, побудившие нас... возьми деньги, Полечка. Видишь, есть же благородные и великодушные люди, тотчас готовые помочь бедной дворянке в несчастье. Вы видите, милостивый государь, благородных сирот, можно даже считать с самыми аристократическими связями... А этот генералишка сидел и рябчиков ел... ногами затопал, что я его обеспокоила... «Ваше превосходительство, говорю, защитите сирот, очень зная, говорю, покойного Семена Захарыча, и так как его родную дочь подлейший из подлецов в день его смерти оклеветал...» Опять этот солдат! Защитите! — закричала она чиновнику, — чего этот солдат ко мне лезет? Мы уж убежали от одного сюда из Мещанской... ну тебе-то какое дело, дурак!

— Потому по улицам запрещено-с. Не извольте безобразничать.

— Сам ты безобразник! Я все равно как с шарманкой хожу, тебе какое дело?

— Насчет шарманки надо дозволение иметь, а вы сами собой-с и таким манером народ сбиваете. Где изволите квартировать?

— Как, дозволение! — завопила Катерина Ивановна. — Я сегодня мужа схоронила, какое тут дозволение!

— Сударыня, сударыня, успокойтесь, — начал было чиновник, — пойдемте, я вас доведу... Здесь в толпе неприлично... вы нездоровы...

— Милостивый государь, милостивый государь, вы ничего не знаете! — кричала Катерина Ивановна, — мы на Невский пойдем, — Соня, Соня! да где же она? Тоже плачет! Да что с вами со всеми!.. Коля, Леня, куда вы? — вскрикнула она вдруг в испуге, — о, глупые дети! Коля, Леня, да куда ж они!..

Случилось так, что Коля и Леня, напуганные до последней степени уличною толпой и выходками помешанной матери, увидев, наконец, солдата, который хотел их взять и куда-то вести, вдруг, как бы сговорившись, схватили друг друга за ручки и бросились бежать. С воплем и плачем кинулась бедная Катерина Ивановна догонять их. Безобразно и жалко было смотреть на нее, бегущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бросились вслед за нею.

— Вороти, вороти их, Соня! О, глупые, неблагодарные дети!.. Поля! лови их... Для вас же я...

Она споткнулась на всем бегу и упала.

— Разбилась в кровь! О господи! — вскрикнула Соня, наклоняясь над ней.

Все сбежались, все затеснились кругом. Раскольников и Лебезятников подбежали из первых; чиновник тоже поспешил, а за ним и городской, проворчав: «Эхма!» и махнув рукой, предчувствуя, что дело обернется хлопотливо.

— Пошел! пошел! — разгонял он теснившихся кругом людей.

— Помирает! — закричал кто-то.

— С ума сошла! — проговорил другой.

— Господи, сохрани! — проговорила одна женщина, крестясь.—Девчонку-то с парнишкой зловили ли? Вона-ка, ведут, старшенькая перехватила... Вишь, сбалмошные!

Но когда разглядели хорошенько Катерину Ивановну, то увидали, что она вовсе не разбилась о камень, как подумала Соня, а что кровь, обогрившая мостовую, хлынула из ее груди горлом.

— Это я знаю, видал, — бормотал чиновник Раскольникову и Лебезятникову, — это чахотка-с; хлынет этак кровь и задавит. С одною моею родственницей, еще недавно

свидетелем был, и этак стакана полтора... вдруг-с... Что же, однако ж, делать, сейчас помрет?

— Сюда, сюда, ко мне! — умоляла Соня, — вот здесь я живу!.. Вот этот дом, второй отсюда... Ко мне, поскорее, поскорее!.. — металась она ко всем. — За доктором пошлите... О господи!

Стараниями чиновника дело это уладилось, даже городской помогал переносить Катерину Ивановну. Внесли ее к Соне почти запертво и положили на постель. Кровотечение еще продолжалось, но она как бы начинала приходить в себя. В комнату вошли разом, кроме Сони, Раскольников и Лебезятников, чиновник и городской, разогнавший предварительно толпу, из которой некоторые провожали до самых дверей. Полечка ввела, держа за руки, Колю и Леню, дрожавших и плакавших. Сошлись и от Капернаутовых: сам он, хромой и кривой, странного вида человек с щетинистыми, торчком стоящими волосами и бакенбардами; жена его, имевшая какой-то раз навсегда испуганный вид, и несколько их детей, с одереженелыми от постоянного удивления лицами и с раскрытыми ртами. Между всею этою публикой появился вдруг и Свидригайлов. Раскольников с удивлением посмотрел на него, не понимая, откуда он явился, и не помня его в толпе.

Говорили про доктора и про священника. Чиновник хотя и шепнул Раскольникову, что, кажется, доктор теперь уже лишнее, но распорядился послать. Побежал сам Капернаутов.

Между тем Катерина Ивановна отдышалась, на время кровь отошла. Она смотрела болезненным, но пристальным и проникающим взглядом на бледную и трепещущую Соню, отиравшую ей платком капли пота со лба; наконец, попросила приподнять себя. Ее посадили на постели, придерживая с обеих сторон.

— Дети где? — спросила она слабым голосом. — Ты привела их, Поля? О глупые!.. Ну чего вы побежали... Ох!

Кровь еще покрывала ее иссохшие губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь:

— Так вот ты как живешь, Соня! Ни разу-то я у тебя не была... привелось...

Она с страданием посмотрела на нее:

— Иссосали мы тебя, Соня... Поля, Леня, Коля, подите сюда... Ну, вот они, Соня, все, бери их... с рук на руки... а с меня довольно!.. Кончен бал! Г'а!.. Опустите меня, дайте хоть помереть спокойно...

Ее опустили опять на подушку.

— Что? Священника?.. Не надо... Где у вас лишний целковый?.. На мне нет грехов!.. Бог и без того должен простить... Сам знает, как я страдала!.. А не простит, так и не надо!..

Беспокойный бред охватывал ее более и более. Порой она вздрагивала, обводила кругом глазами, узнавала всех на минуту; но тотчас же сознание снова сменялось бредом. Она хрипло и трудно дышала, что-то как будто клокотало в горле.

— Я говорю ему: «Ваше превосходительство!..» — выкрикивала она, отдыхиваясь после каждого слова, — эта Амалия Людвиговна... ах! Леня, Коля! ручки в боки, скорей, скорей, глицсе-глицсе, па-де-баск! Стучи ножками... Будь грациозный ребенок.

[Du hast Diamanten und Perlen...](#)⁸

Как дальше-то? вот бы спеть...

Du hast die schönsten Augen,
Mädchen, was willst du mehr?⁹

Ну да, как не так! was willst du mehr, — выдумает же, болван!..
Ах да, вот еще:

В полдневный жар, в долине Дагестана...

Ах, как я любила... Я до обожания любила этот романс, Полечка!.. знаешь, твой отец... еще женихом певал... О, дни!.. Вот бы, вот бы нам спеть! Ну как же, как же... вот я и забыла... да напомните же, как же? — Она была в чрезвычайном волнении и усиливалась приподняться. Наконец, страшным, хриплым, надрывающимся голосом она начала, вскрикивая и задыхаясь на каждом слове, с видом какого-то возраставшего испуга:

В полдневный жар, в долине Дагестана...
С свинцом в груди!..

Ваше превосходительство! — вдруг завопила она раздирающим воплем и залившись слезами, — защитите сирот! Зная хлеб-соль покойного Семена Захарыча!.. Можно даже сказать аристократического!.. Г'а! — вздрогнула она, вдруг опаматовавшись и с каким-то ужасом всех осматривая, но тотчас узнала Соню. — Соня, Соня! — проговорила она кротко и ласково, как бы удивившись, что видит ее перед собой, — Соня, милая, и ты здесь?

Ее опять приподняли.

— Довольно!.. Пора!.. Прощай, горемыка!.. Уездили клячу!.. Надорвала-а-ась! — крикнула отчаянно и ненавистно и грохнулась головой на подушку.

Она вновь забылась, но это последнее забытие продолжалось недолго. Бледно-желтое, иссохшее лицо ее закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла.

Соня упала на ее труп, обхватила ее руками и так и замерла, прильнув головой к иссохшей груди покойницы. Полечка припала к ногам матери и целовала их, плача навзрыд. Коля и Леня, еще не поняв, что случилось, но предчувствуя что-то очень страшное, схватили один другого обеими руками за плечики и, уставившись один в другого глазами, вдруг вместе, разом, раскрыли рты и начали кричать. Оба еще были в костюмах: один в чалме, другой в ермолке с страусовым пером.

И каким образом этот «похвальный лист» очутился вдруг на постели, подле Катерины Ивановны? Он лежал тут же, у подушки; Раскольников видел его.

Он отошел к окну. К нему подскочил Лебезятников.

— Умерла! — сказал Лебезятников.

— Родион Романович, имею вам два нужных словечка передать, — подошел Свидригайлов. Лебезятников тотчас же уступил место и деликатно стушевался. Свидригайлов увел удивленного Раскольникова еще подальше в угол.

— Всю эту возню, то есть похороны и прочее, я беру на себя. Знаете, были бы деньги, а ведь я вам сказал, что у меня лишние. Этих двух птенцов и эту Полечку я помещу в какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого, до совершеннолетия, по тысяче пятисот рублей капитала, чтоб уж совсем Софья Семеновна была покойна. Да и ее из омута вытащу, потому хорошая девушка, так ли? Ну-с, так вы и передайте Авдотье Романовне, что ее десять тысяч я вот так и употребил.

— С какими же целями вы так разблаготворились? — спросил Раскольников.

— Э-эх! человек недоверчивый! — засмеялся Свидригайлов. — Ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, а просто, по человечеству, не допускаете, что ль? Ведь не «вошь» же была она (он ткнул пальцем в тот угол, где была усопшая), как какая-нибудь старушонка процентщица. Ну, согласитесь, ну «Лужину ли, в самом деле, жить и делать мерзости или ей умирать?». И не помощи я, так ведь «Полечка, например, туда же, по той дороге пойдет...».

Он проговорил это с видом какого-то *подмигивающего*, веселого плутовства, не спуская глаз с Раскольникова. Раскольников побледнел и похолодел, слыша свои собственные выражения, сказанные Соне. Он быстро отшатнулся и дико посмотрел на

Свидригайлова.

— По-почему... вы знаете? — прошептал он, едва переводя дыхание.

— Да ведь я здесь, через стенку, у мадам Ресслих стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Ресслих, старинная и преданнейшая приятельница. Сосед-с.

— Вы?

— Я, — продолжал Свидригайлов, колыхаясь от смеха, — и могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали. Ведь я сказал, что мы сойдемся, предсказал вам это, — ну, вот и сошлись. И увидите, какой я складный человек. Увидите, что со мной еще можно жить...

¹ будем различать (*фр.*).

² полностью (*фр.*).

³ Боже милосердный (*нем.* Gott der barmherzige).

⁴ держись прямо! (*фр.*)

⁵ говори со мной по-французски (*фр.*).

⁶ Мальбрук в поход собрался,

Неизвестно, когда вернется... (*фр.*)

⁷ Пять грошей, пять грошей

На устройство нашего хозяйства... (*фр.*)

⁸ У тебя алмазы и жемчуг... (*нем.*)

⁹ У тебя прекрасные очи,

Девушка, чего же тебе еще? (*нем.*)